



Новогодние  
и другие зимние  
рассказы

русских писателей

Серия «Рождественский подарок»

Рождественский подарок

Сборник

**Новогодние и другие зимние  
рассказы русских писателей**

«Никея»

2018

УДК 821.161.1  
ББК 84Р7

### **Сборник**

Новогодние и другие зимние рассказы русских писателей /  
Сборник — «Никея», 2018 — (Рождественский подарок)

ISBN 978-5-91761-779-4

В этот сборник вошли рассказы русских писателей, широко- и малоизвестных, объединенные темой Нового года и Святки. Долгая русская зима с крещенскими морозами, буранами и метелями, грозящими человеку опасностью, долгие темные вечера, наполненные рассказами о былом и святочными небылицами, ярко отразились в русской литературе. Во многих произведениях особенно значительным мотивом является утверждение христианских добродетелей.

УДК 821.161.1

ББК 84Р7

ISBN 978-5-91761-779-4

© Сборник, 2018  
© Никея, 2018

## Содержание

Владимир Одоевский (1803–1869)	6
Действие I	7
Действие II	10
Действие III	12
Михаил Загоскин (1789–1852)	13
Александр Шаховской (1777–1846)	19
Нестор Кукольник (1809–1868)	27
I	27
II	32
III	34
Федор Достоевский (1821–1881)	38
Владимир Соллогуб (1813–1882)	43
Конец ознакомительного фрагмента.	46

## **Новогодние и другие зимние рассказы русских писателей**

Андреев Л.

Вагнер Н.

Гаршин Вс.

Ге Г.

Достоевский Ф.

Загоскин М.

Каразин Н.

Коринфский А.

Коровин В.

Краснова Е.

Кукольник Н.

Нефедов Ф.

Одоевский В.

Парчевский К.

Соллогуб В.

Станиславский А.

Чаушанский В.

Чехов А.

Шаховской А.

Составитель Т. В. Стрыгина

Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви ИС

Р17–710–0389

© ООО ТД «Никея», 2018

© Издательский дом «Никея», 2018

## **Владимир Одоевский (1803–1869)**

### **Новый год**

#### **Из записок ленивца**

«Если записывать каждый день своей жизни, то чья жизнь не будет любопытна?» – сказал кто-то.

На это я мог бы очень смело отвечать: «Моя». Что может быть любопытного в жизни человека, который на сем свете ровно ничего не делал!

Я чувствовал, я страдал, я думал за других, о других и для других. Пишу свои записки, перечитываю и не нахожу в них только одного: самого себя. Такое самоотвержение с моей стороны должно расположить читателей в мою пользу: увидим, ошибся ли я в своем расчете, вот несколько дней не моей жизни; если они вам не слишком наскучат, то расскажу и про другие.

## Действие I

– Вина! вина! наливай скорее; уже без пяти минут двенадцать.

– Неправда, еще целых полчаса осталось до Нового года... – отвечал Вячеслав, показывая с гордостью на свои деревянные часы с розанами на циферблате и чугунными гирями.

– Это по твоим часам: они всегда целым часом отстают!..

– Зато они иногда двумя часами бегут вперед; оно на то же и наведет, – заметил записной насмешник.

– Неправда, они очень верны, – возразил Вячеслав с досадою, – я их каждый день поверяю по городским...

– Сколько ему гордости придают его часы! – продолжал насмешник. – Купил у носящего за целковый, повесил на стену, смотрите, точно гостиная...

– Неправда, они куплены у часовщика, и за них заплачено двадцать пять рублей...

– Объявляю вам, господа, что от этой славной покупки у нас будет двумя бутылками меньше...

Так мы кричали, шумели, спорили и болтали всякий вздор накануне Нового года в маленькой комнатке Вячеслава в третьем этаже. Нас было человек двенадцать – все мы только что вышли из университета. Вячеслав был немногим богаче всех нас, но как-то щеголеватее и к тому же большой мастер устраивать в своей комнате и хозяйничать: например, у Вячеслава сверх табака водились всегда сыр и так называемое вино из ренского погреба; в комнате, вместо классической железной кровати студента с байковым одеялом, стоял диван, обтянутый полосатой холстинкою; на этом диване лежали кожаные подушки, с которых на день снимались наволочки; возле дивана был растянут сплетенный из покровок ковер, от чего диван получал вид роскошного оттомана; книги лежали не на полу, по общему обыкновению, но на доске, прибитой к стене под коленкоровой занавеской; не только был стол для письма, но и еще другой стол особенно, хотя и без ящика; над единственным окошком висел кусок полотна; даже были вольтеровские кресла; наконец, знаменитые часы гордо размахивали маятником и довершали убранство комнаты.

Такое пышное устройство возбуждало всеобщую зависть и всеобщее удивление и с тем вместе было причиною, почему квартира Вячеслава была всегда местом наших собраний. Так было и сегодня. За месяц еще Вячеслав преважно пригласил нас встретить у него Новый год, обещая даже сделать жженку. Разумеется, отказа не было. Мы знали, что он уже давно хлопочет о приготовлениях, что заказан пирог и что, сверх обыкновенного его так называемого вина, будет по крайней мере три бутылки шампанского!

После смеха и шума, к двенадцати часам все пришло в порядок.

Как мы все уселись на трех квадратных сажнях, я теперь уже не понимаю, только всем было место: кому на диване, кому на окошке, кому на столе, кому на полке; на одних вольтеровских креслах сидели, мне кажется, три человека! Вот на столе уже уставлены огромный пирог, огромный сыр, бутылки и, разумеется, череп – для того, чтоб наше пиршество больше приближалось к лукуллову. Двенадцать трубок закурились в торжественном молчании; но едва деревянные часы продребезжали полночь, мы чокнулись стаканами и прокричали «ура» Новому году. Правда, шампанское было немножко тепло, а горячий пирог был немножко холоден, но этого никто не заметил.

Беседа была веселая. Мы только что вырвались из школьного заточения, мы только что вступали в свет: широкая дорога открывалась перед нами – простор молодому воображению. Сколько планов, сколько мечтаний, сколько самонадеянности и – сколько благородства! Счастлирое время! Где ты?..

К тому же мы были люди важные: мы уже имели наслаждение видеть себя в печати – наслаждение, в первый раз неизъяснимое! Уже мы принадлежали к литературной партии и защищали одного добросовестного журналиста против его соперников и ужасно горячились. Правда, за то нам и доставалось. Сначала раздаватели литературной славы приняли было новых авторов с отеческим покровительством, но мы в порыве беспристрастия, в ответ на нежности, задели всех этих господ без милосердия. Такая неблагодарность с нашей стороны чрезвычайно их рассердила. В эту позорную эпоху нашей критики литературная брань выходила из границ всякой благопристойности, литература в критических статьях была делом совершенно посторонним: они были просто ругательство, площадная битва площадных шуток, двусмысленностей, самой злонамеренной клеветы и обидных применений, которые часто простирались даже до домашних обстоятельств сочинителя; разумеется, в этой бесславной битве выигрывали только те, которым нечего было терять в отношении к честному имени. Я и мои товарищи были в совершенном заблуждении: мы воображали себя на тонких философских диспутах портика или академии, или по крайней мере в гостиной; в самом же деле мы были в райке: вокруг пахнет салом и дегтем, говорят о ценах на севрюгу, бранятся, поглаживают нечистую бороду и засучивают рукава, – а мы выдумываем вежливые насмешки, остроумные намеки, диалектические тонкости, ищем в Гомере или Виргилии самую жестокую эпиграмму против врагов наших, боимся расшевелить их деликатность... Легко было угадать следствие такого неравного боя. Никто не брал труда справляться с Гомером, чтобы постигнуть всю едкость наших эпиграмм: насмешки наших противников в тысячу раз сильнее действовали на толпу читателей и потому, что были грубее, и потому, что менее касались литературы.

К счастью, это скорбное время прошло. Если бы остаткам героев того века и хотелось возобновить эту выгодную для них битву – такое предприятие едва ли увенчается успехом; общее презрение мало-помалу налегло на достойных презрения – и им уже не приподняться! Но тогда, – тогда другое дело. Многие из нас были задеты этими господами со всею лакейскою грубостью; насмешники были против нас, и, стыдно признаться, глупые шутки наших критиков звенели у нас в ушах; мы чувствовали всю справедливость нашего дела – и тем досаднее была нам несправедливость общего голоса. В зрелых годах человек привыкает к людской несправедливости, находит ее делом обыкновенным, часто горьким, чаще смешным; но в юности, когда так хочется верить всему высокому и прекрасному, несправедливость людей поражает сильно и наводит на душу невыразимое уныние. Этому состоянию духа должно приписать тот байронизм, в котором, может быть, уже слишком упрекают молодых людей и в котором бывает часто виновата лишь доброта и возвышенность их сердца. Люди бездушные никогда и ни о чем не тоскуют.

Как бы то ни было, эти нападки бесславных врагов, их торжество в общем мнении сближали товарищей в нашем маленьком кругу; здесь мы отдыхали; каждый знал труды другого; каждый по себе ценил усилия товарища; общая несправедливость была нам даже полезна: мы с большею бодростью поощряли друг друга к новым трудам и с каждым днем становились более строги к самим себе.

Наша беседа перед Новым годом была полна этой пламенной, этой живой, юношеской жизни. Сколько прекрасных надежд! Сколько планов, перемешанных с тонкими аттическими эпиграммами против наших гонителей!.. Вячеслав был душою нашего общества: он нам преважно доказал, что Новый год непременно должно начать чем-нибудь дельным, сам в качестве поэта схватил лист бумаги и стал импровизировать стихи, а нам предложил каждому выбрать себе какую-нибудь дельную, важную работу, которой надлежало предаться в течение года. Предложение было принято с восторгом – и в этот день мы погрозились читателям несколькими системами философии, несколькими курсами математики, несколькими романами и несколькими словарями. От близкой работы мы перешли к отдаленной: все отрасли деятельности были разобраны – кто обещался возвысить наукою воинственное имя своих пред-

ков; кто перенести в наш мир промышленности все знания Европы; кто на царской службе принести в жертву жизнь на поле брани или в тяжких трудах гражданских. Мы верили себе и другим, ибо мысли наши были чисты и сердце не знало расчетов. Между тем Вячеслав окончил свои стихи, в которых намекал о трудах, заказанных нами самим себе. Нет нужды сказывать, что мы провозгласили его истинным поэтом и убедительно ему доказывали, что его предназначение в этой жизни – развивать идею поэзии; долго потом, встречаясь, мы вместо обыкновенного «здравствуй» приветствовали друг друга стихами нашего поэта: они наводили светлый радужный отблеск на все наши мысли и чувства.

Мы расстались с дневным светом, обещали друг другу собраться всем в этот день ежегодно у Вячеслава, несмотря на все препятствия, и давать друг другу отчет в исполнении своих обещаний.

Несколько лет мы были неразлучны. Многих судьба переменилась; кромчатый ковер заменился хитрыми изделиями английской промышленности; маленькая комнатка обратилась в пышные, роскошные хоромы; шампанское мерзло в серебряных вазах, наполненных химическим холодом, – но мы в честь старой студенческой жизни сходились запросто, в сюртуках, и по-прежнему делились откровенными мыслями и чувствами. Между тем некоторые из наших работ были начаты, большая часть – не окончены, остальные переменены на другие. Мало-помалу судьба разнесла нас по всем концам мира; оставшиеся сходились по-прежнему в первый день года; отсутствующие писали к нам, что они в эти дни мысленно переносились к друзьям: кто из царградского храма св. Софии, кто с берегов Ориноко, кто от подошвы Эльборуса, кто с холмов древнего Рима.

## Действие II

Прошло еще несколько лет. Судьба носила меня по разным странам. Я приехал в Москву накануне Нового года; искать Вячеслава – нет его: он в подмосковной верст за десять; я в том же экипаже в подмосковную, куда приехал около полуночи. Лошади быстро пронесли меня по запушенному снегом двору; в барском доме еще мелькал огонь. Прошед несколько слабо освещенных комнат, я дошел до кабинета. Вячеслав на коленях перед колыбелью спящего младенца; ему улыбалась прекрасная, в цвете лет женщина; он узнал меня и дал знак рукою, чтоб я говорил тише.

– Он только что стал засыпать, – сказал Вячеслав шепотом; жена его повторила эти слова.

Несколько минут я смотрел с умилением на эту семейную картину. Видно было по всему, что в этом доме жили, а не кочевали; все было придумано с английскою прозорливостью для жизни семейной, ежедневной: стол был покрыт книгами и бумагами, мебель спокойная, необходимая занятому человеку; везде беспорядок, составляющий середину между порядком праздного человека и небрежностью ленивца; на креслах пюпитры для чтения, фортепьяно, начатая канва, развернутые журналы и, наконец, воспоминание прежней нашей жизни – студенческие деревянные часы. Я не успел еще осмотреться, когда младенец заснул крепким сном невинности. Вячеслав приподнялся от колыбели и сжал меня в своих объятиях.

– Это мой старый товарищ, – говорил он, знакомя с своею женою, – сегодня канун Нового года, надобно встретить его по старине.

Мы уселись втроем за маленьким столиком; в 12 часов чокнулись рюмками и стали вспоминать о былом, припоминать товарищей... Многих недосчитывались: кто погиб славною смертью на поле брани, кто умер не менее славною смертью, изнуренный кабинетным трудом и ночами без сна; кого убила безнадежная страсть, кого невозвратимая потеря, кого несправедливость людская; но половины уже не существовало в сем мире!

Не было криков, не было юношеских восторгов на этом мирном пире, не было необдуманных обещаний, легкомысленных надежд; мы говорили шепотом, чтоб не разбудить дитя; часто мы останавливались на недоконченной фразе, чтоб взглянуть на спящего младенца; мы говорили не о будущем, но лишь о прошедшем и настоящем; наш разговор был тот тихий семейный лепет, где вас занимают не сказанные слова, но тот, кто сказал их; где мысль вполнину угадывается и где говорят, кажется, для того только, чтоб иметь предлог посмотреть друг на друга.

– Мое время прошло, – сказал наконец Вячеслав. – Стихи мои в камине; попытки не удались; юношеских сил не воротить; великим поэтом мне не бывать, а посредственным быть не хочу; но то, чего я не успел доделать в себе, то постараюсь докончить в нем, – прибавил Вячеслав, указывая на колыбель, – здесь моя настоящая деятельность, здесь мои юношеские силы, здесь надежды на будущее. Ему посвящаю жизнь мою; у него не будет другого, кроме меня, наставника; у него не будет минуты, которой бы он не разделил со мною, ибо в воспитании важна всякая минута: один миг может разрушить усилия целых годов; отец, не порадевший о своем сыне, есть в моих мыслях величайший преступник. Кто знает! природа на растениях производит слабый, будто ненужный листок, который вырастает только для того, чтоб сохранить нежный зародыш, и потом – увянуть незаметно: не случается ли того же и между людьми? Может быть, я этот слабый, грубый листок, а мой сын зародыш чего-нибудь великого; может быть, в этой колыбели лежит поэт, музыкант, живописец, которому вверило Провидение всю будущность человечества. Я увяну незаметно, но все, что есть в моем сыне, выведу в мир; в этом, я верю, единое назначение моей второстепенной жизни!

Тут Вячеслав принялся мне рассказывать план, предпринятый им для воспитания сына; его библиотека была наполнена всеми возможными книгами о воспитании; он показал мне

кучу огромных выписок: он учился не шутя, но по-нашему, по-старинному, как студент, готовящийся к строгому экзамену.

Я расстался с Вячеславом рано; мы не выпили и четверти бутылки: он, как человек семейный, не любил обращать ночи в день; я не хотел заставить его переменить заведенный им строгий порядок. Часы, проведенные с ним, оставили надолго в душе моей сладкое и невыразимое чувство.

## Действие III

Прошло еще несколько лет. Однажды, под Новый год, судьба занесла меня в П. Я знал, что Вячеслав поселился уже более двух лет в этом городе. Я бросил в трактире мой экипаж и чемоданы и по-старому, не переодеваясь, как был в дорожном платье, сел на первого попавшего мне извозчика и поспешил скорее к прежнему товарищу. Быстрое движение блестящих карет, скакавших по улице, привело меня с непривычки в какое-то онемение; я едва мог выговорить мое имя швейцару, встретившему меня у Вячеславова крыльца. Думаю, что он принял меня за сумасшедшего, потому что несколько времени смотрел мне в глаза и не отвечал ни слова.

– Барин сейчас едет, барыня уже уехала, – наконец проговорил он.

– Какой вздор! быть не может.

– Карета уже подана, барин одевается...

– Быть не может.

– Позвольте об вас доложить...

– Я хожу без доклада.

– Однако же...

Я оттолкнул верного приставника и поспешно пробежал ряд блестящих комнат. В доме все суетилось; в крайней комнате я нашел Вячеслава во всем параде перед зеркалом; он ужасно сердился на то, что башмак отставал у него от ноги; парикмахер поправлял на голове его накладку.

Вячеслав, увидя меня, обрадовался и смешался.

– Ах, братец! – говорил он мне с досадою, обращаясь то к камердинеру, то к парикмахеру. – Затяни этот шнурок... Зачем было мне не сказать, что ты здесь?

– Я сейчас только из дорожной кареты.

– Я бы как-нибудь отделался. Ты не знаешь, что такое здешняя жизнь... прикрепи эту пуклю... ни одной минуты для себя, не успеваешь жить и не чувствуешь, как живешь...

– Ты едешь – я тебе не мешаю...

– Ах, как досадно! Как бы хотелось с тобою остаться... здесь накладка сползает... но невозможно, поверишь мне, что невозможно...

– Верю, верю; какое-нибудь важное дело...

– Какое дело! Я дал слово князю Б. на партию виста... перчатки... он человек, от которого многое зависит, – нельзя отказаться. Ах, как бы хорошо нам встретить Новый год по старине, вспомнить былое... шляпу...

– Сделай милость, без церемоний...

Тут вошел сын его с гувернером:

– Adieu, пара.

– А, ты уж возвратился? Весел ли был ваш маскарад? Ну, прощай, ложись спать... затяни еще шнурок... Бог с тобою. Ах, Боже мой, уже половина двенадцатого... прощай, моя душа! Помнишь, как мы живали! Карету, карету!..

Вячеслав побежал опретью; я пошел за ним тихо, посмотрел на прекрасные комнаты, – они были блестящи, но холодны; в кабинете величайший порядок, все на своем месте, пакеты, чернильница; на камине часы госсос, на столе развернутый адрес-календарь...

Этот Новый год я встретил один, перед кувшином зельцерской воды, в гостинице для проезжающих.

1831

## Михаил Загоскин (1789–1852)

### Нежданные гости

– Отец мой был человек старого века, – начал так Антон Федорович Кольчугин, – хотя, благодаря, во-первых, Бога, а во-вторых, родителей, достаток у него был дворянский, и он мог бы жить не хуже своих соседей, то есть – выстроить хоромы сажень на пятнадцати, завести псовую охоту, роговую музыку, оранжереи и всякие другие барские затеи; но он во всю жизнь ни разу и не подумал об этом; жил себе в маленьком домике, держал не больше десяти слуг, охотился иногда с ястребами и под веселый час так-то, бывало, тешится, слушая Ваньку-гуслиста, который – не тем будь помянут – попивал, а лихо, разбойник, играл на гусях; бывало, как хватит «Заря утренняя взошла...» или «На бережку у ставка...» – так заслушаешься! Но если батюшка мой не щеголял ни домом, ни услугою, то зато крепко держался пословицы: «Не красна изба углами, а красна пирогами». И в старину, чай, такие хлебосолы бывали в диковинку! Дом покойного батюшки выстроен был на самой большой дороге; вот если кто-нибудь днем или вечером остановится кормить на селе, то и бегут ему сказать; и коли приезжие хоть мало-мальски не совсем простые люди, дворяне, купцы или даже мещане, так милости просим на барский двор; закобенились – так околицу на запор, и хоть себе голосом вой, а ни на одном дворе ни клока сена, ни зерна овса не продадут. Что и говорить; любил пображничать покойник! Бывало, как залучит к себе гостей, так пойдет такая попойка, что лишь только держись: море разливанное; чего хочешь, того просишь. Всяких чужеземных напитков сортов до десяти в подвале не переводилось, а уж об наливках и говорить нечего!

Однажды зимою, ровно через шесть месяцев после кончины моей матушки, сидел он один-одинехонек в своем любимом покое с лежанкою. Меня с ним не было: я уж третий год был на службе царской и дрался в то время со шведами. Дело шло к ночи; на дворе была метелица, холод страшный, и часу в десятом так заколодило, что от мороза все стены в доме трещали. В такую погоду гостей не дождешься. Что делать? Покойный батюшка, чтоб провести время до ужина, – а он никогда не изволил ужинать прежде одиннадцатого часу, – принял за Четьи Минеи. Развернул наудачу и попал на житие преподобного Исакия, затворника печерского. Когда он дочел до того места, где сказано, что бесы, явившись к святому угоднику под видом ангелов, обманули его и, восклицая: «Наш еси, Исакий!», заставили его насильно плясать вместе с собою, то покойный батюшка почувствовал в душе своей сомнение, соблазнился и, закрыв книгу, начал умствовать и рассуждать с самим собою. Но чем более он думал, тем более казалось ему невероподобным таковое попущение Божие. Вот в самое-то его раздумье нашла на него дремота, глаза стали слипаться, голова отяжелела, и он мне сказывал, что не помнит сам, как прилег на канаве и заснул крепким сном. Вдруг в ушах у него что-то зазвенело, он очнулся, слышит – бьют часы в его спальне ровно десять часов. Лишь только он было приподнялся, чтоб велеть подавать себе ужинать, как вошел в комнату любимый его слуга Андрей и поставил на стол две зажженные свечи.

– Что ты, братец? – спросил батюшка.

– Пришел, сударь, доложить вам, – отвечал слуга, – что на селе остановились приказный из города да козаки, которые едут с Дону.

– Ну так что ж? – перервал батюшка. – Беги скорей на село, проси их ко мне, да не слушай никаких отговорок.

– Я уж их звал, сударь, и они сейчас будут, – пробормотал сквозь зубы Андрей.

– Так скажи, чтоб прибавили что-нибудь к ужину, – продолжал батюшка, – и вели принести из подвала штоф запеканки, две бутылки вишневки, две рябиновки и полдюжины виноградного. Ступай!

Слуга отправился. Минут через пять вошли в комнату три козака и один пожилой человек в долгополом сюртуке.

– Милости просим, дорогие гости! – сказал батюшка, идя к ним навстречу.

Зная, что набожные козаки всегда помолятся прежде святым иконам, а потом уж кланяются хозяину, он промолвил, указывая на образ Спасителя, который трудно было рассмотреть в темном углу: «Вот здесь!» – но, к удивлению его, козаки не только не перекрестились, но даже и не поглядели на образ. Приказный сделал то же самое. «Не фигура, – подумал батюшка, – что это крапивное семя не знает Бога; но ведь козаки – народ благочестивый!.. Видно, они с дороги-то вовсе ошалели!» Меж тем неожиданные гости раскланялись с хозяином; козаки очень вежливо поблагодарили его за гостеприимство, а приказный, сгибаясь перед ним в кольцо, отпустил такую рацею, что покойный батюшка, хотя был человек речистый и за словом в карман не ходил, а вовсе стал в тупик и вместо ответа на его кудрявое приветствие закричал: «Гей, малый! Запеканки!»

Вошел опять Андрей, поставил на стол тарелку закуски, штоф водки и дедовские серебряные чары по доброму стакану.

– Ну-ка, любезные! – сказал батюшка, наливая их вровень с краями. – Поотогрейте свои душеньки; чай, вы порядком надроглись. Прошу покорно!

Гости чин чин поклонились хозяину, выпили по чарке, хватили по другой, хлебнули по третьей; глядь-поглядь, ан в штофе хоть прогуливайся – ни капельки! «Ай да питухи! – подумал батюшка. – Ну!!! Нечего сказать, молодцы! Да и рожи-то у них какие!»

В самом деле, нельзя было назвать этих нечаянных гостей красавцами. У одного козака голова была больше туловища; у другого толстое брюхо почти волочилось по земле; у третьего волосы рыжие, а щеки как раскаленные кирпичи, когда их обжигают на заводе. Но всех курioзнее показался ему приказный в долгополом сюртуке; такой исковерканной и срамной рожи он сродясь не видывал! Его лысая и круглая, как бильярдный шар, голова втиснута была промежду двух узких плеч, из которых одно было выше другого; широкий подбородок, как набитый пухом ошейник, обхватывал нижнюю часть его лица; давно не бритая борода торчала щетиною вокруг синеватых губ, которые чуть-чуть не сходились на затылке; толстый, вздернутый кверху нос был так красен, что в потемках можно было принять его за головню; а маленькие, прищуренные глаза вертелись и сверкали, как глаза дикой кошки, когда она подкрадывается ночью к какому-нибудь зверьку или к сонной пташечке. Он беспрестанно ухмылялся, «но эта улыбка, – говаривал не раз покойный мой батюшка, – ни дать ни взять походила на то, как собака оскаливает зубы, когда увидит чужого или захочет у другой собаки отнять кость».

Вот как гости, опорожнив штоф запеканки, остались без дела, то батюшка, желая занять их чем-нибудь до ужина, начал с ними разговаривать.

– Ну что, приятели, – спросил он козаков, – что у вас на Дону поделывается?

– Да ничего! – отвечал козак с толстым брюхом. – Все по-прежнему: пьем, гуляем, веселимся, песенки попеваем.

– Попевайте, любезные, – продолжал батюшка, – попевайте, только Бога не забывайте!

Козаки захохотали, а приказный оскалил зубы, как голодный волк, и сказал:

– Что об этом говорить, сударь! Ведь это круговая порука: мы Его не помним, так пускай и Он нас забудет; было бы винцо да денежки, а все остальное трын-трава!

Батюшка нахмурился; он любил пожить, попить, пображничать; но был человек благочестивый и Бога помнил. Помолчав несколько времени, батюшка спросил подьячего, из какого он суда.

– Из уголовной палаты, сударь, – отвечал с низким поклоном приказный.

– Ну что поделывает ваш председатель? – продолжал батюшка.

А надобно вам сказать, господа, что этот председатель уголовной палаты был суший разбойник.

– Что подельывает? – повторил приказный. – Да то же, что и прежде, сударь: служит верой и правдою...

– Да, да! Верой и правдою! – подхватили в один голос все козаки.

– А разве вы его знаете? – спросил батюшка.

– Как же! – отвечал козак с совиным носом. – Мы все его приятели и ждем не дождемся радости, когда его высокородие к нам в гости пожалует.

– Да разве он хотел у вас побывать?

– И не хочет, да будет, – перервал козак с большой головой. – Не так ли, товарищи?

Все гости опять засмеялись, а подьячий, прищуривав свои кошачьи глаза, прибавил с лукавой усмешкою:

– Конечно, приехать-то приедет, а нечего сказать, тяжел на подъем! месяц тому назад совсем было уж в повозку садился, да раздумал.

– Как так? – вскричал батюшка. – Да месяц тому назад он при смерти был болен.

– Вот то-то и есть, сударь! По этому-то самому резонту он было совсем и собрался в дорогу.

– А, понимаю! – прервал батюшка. – Верно, доктора советовали ему ехать туда, где потеплее?

– Разумеется! – подхватили с громким хохотом козаки. – Ведь у нас за теплом дело не станет: грейся, сколь хочешь.

Этот беспрестанный и беспутный хохот гостей, их отвратительные хари, а пуще всего двусмысленные речи, в которых было что-то нечистое и лукавое, весьма не понравились батюшке; но делать было нечего: зазвал гостей, так угощай! Желая как можно скорее отвязаться от таких собеседников, он закричал, чтоб подавали ужинать. Не прошло полчаса, как стол уже был накрыт, кушанье поставлено и бутылки с наливкою и виноградным вином внесены в комнату; а все хлопотал и суетился один Андрей. Несколько раз батюшка хотел спросить его, куда подевались другие люди; но всякий раз, как нарочно, кто-нибудь из гостей развлекал его своими разговорами, которые час от часу становились забавнее. Козаки рассказывали ему про свое удалство и молодечество, а приказный про плутни своих товарищей и казусные дела уголовной палаты. Мало-помалу они успели так занять батюшку, что он, садясь с ними за стол, позабыл даже помолиться Богу. За ужином батюшка ничего не кушал; но, не желая отставать от гостей, он выпил четыре бутылки вина и две бутылки наливки – это еще не диковинка: покойный мой батюшка пить был здоров и от полдюжины бутылок не свалился бы со стула! Да только вот что было чудно: казалось, гости пили вдвое против него, а из приготовленных шести бутылок вина и четырех наливки только шесть стояло пустых на столе, то есть именно то самое число бутылок, которое выпил один покойник батюшка; он видел, что гости наливали себе полные стаканы, а бутылка всегда доходила до него почти непочатая. Кажется, было чему подивиться; и он точно этому удивлялся – только на другой день, а за ужином все это казалось ему весьма обыкновенным. Я уже вам докладывал, что мой батюшка здоров был пить; но четыре бутылки сантуринского и почти штоф крепкой наливки хоть кого подрумянят. Вот к концу ужина он так распотешился, что даже безобразные лица гостей стали казаться ему милыми, и он раза два принимался обнимать приказного и перецеловал всех козаков. Час от часу речи их становились беспутнее и наглее; они рассказывали про разные любовные похождения, подшучивали над духовными людьми и даже – страшно вымолвить! – забыв, что они сидят за столом, как сущие еретики и богоотступники, принялись попевать срамные песни и приплясывать, сидя на своих стульях. Во всякое другое время батюшка не потерпел бы такого бесчинства в своем доме; а тут, словно обмороченный, начал сам им подлаживать, затянул: «удалая голова, не ходи мимо сада», и вошел в такой задор, что хоть сей час вприсядку. Меж тем козаки, наскучив орать во все горло, принялись делать разные штуки: один заговорил брюхом, другой проглотил большое блюдо с хлебным, а третий ухватил себя за нос, сорвал голову с

плеч и начал ею крутить, как мячиком. Что ж вы думаете, батюшка испугался? Нет! все это казалось ему очень забавным, и он так и валялся со смеху.

– Эге! – вскричал подьячий. – Да вон там на последнем окне стоит никак запасная бутылочка с наливкою; нельзя ли ее прикомандировать сюда? Да не вставай, хозяин; я и так ее достану, – примолвил он, вытягивая руку через всю комнату.

– Ого! какая у тебя ручища-то, приятель! – закричал с громким хохотом батюшка. – Аршин в пять! Недаром же говорят, что у приказных руки длинные...

– Да зато память коротка, – перервал один из козачков.

– А вот увидите! – продолжал подьячий, поставив бутылку посреди стола. – Небось вы забыли, чье надо пить здоровье, а я так помню; начнем с младших! Ну-ка, братцы, хватим по чарке за всех приказных пройдох, за канцелярских молодцов, за удалых подьячих с приписью! Чтоб им весь век чернила пить, а бумагой закусывать; чтоб они почаще умирали да пореже каялись!

– Что ты, что ты? – проговорил батюшка, задыхаясь со смеху. – Да этак у нас все суды опустеют.

– И, хозяин, о чем хлопочешь! – продолжал приказный, наливая стаканы. – Было бы только болото, а черти заведутся. Ну-ка, за мной – ура!

– Выпили? – закричал козак с крючковатым носом. – Так хлебнем же теперь по одной за здоровье нашего старшого. Кто станет с нами пить, тот наш; а кто наш, тот его!

– А как зовут вашего старшину? – спросил батюшка, принимаясь за стакан.

– Что тебе до его имени! – сказал козак с большой головою. – Говори только за нами: да здравствует тот, кто из рабов хотел сделаться господином и хоть сидел высоко, а упал глубоко, да не тужит.

– Но кто же он такой?

– Кто наш отец и командир? – продолжал козак. – Мало ли что о нем толкуют? Говорят, что он любит мрак и называет его светом; так что ж? Для умного человека и потемки свет. Рассказывают также, будто бы он жалуется Содом, Гомор и всякую беспорядицу для того, дескать, чтоб в мутной воде рыбку ловить; да это все бабьи сплетни. Наш господин – барин предобрый; ему служить легко: садись за стол не крестясь, ложись спать не помолясь; пей, веселись, забавляйся, да не верь тому, что печатают под титлами, – вот и вся служба. Ну что? ведь не житье, а масленица, – не правда ли?

Как ни был хмелен батюшка, однако ж призадумался.

– Я что-то в толк не беру, – сказал он.

– А вот как выпьешь, так поймешь, – перервал подьячий. – Ну, братцы, разом! Да здравствует наш отец и командир!

Все гости, кроме батюшки, осушили свои стаканы.

– Ба, ба, ба! хозяин! – закричал подьячий. – Да что ж ты не пьешь?

– Нет, любезный! – отвечал батюшка. – Я и так уж пил довольно. Не хочу!

– Да что с тобой сделалось? – спросил толстый козак. – О чем ты задумался? Эй, товарищи! надо развеселить хозяина. Не поплясать ли нам?

– А что, в самом деле! – подхватил приказный. – Мы посидели довольно, – не худо промяться, а то ведь этак, пожалуй, и ноги затекут.

– Плясать так плясать! – закричали все гости.

– Так постойте же, любезные! – сказал батюшка, вставая. – Я велю позвать моего гуслиста.

– Зачем? – перервал подьячий. – У нас и своя музыка найдется. Гей, вы – начинай!

Вдруг за печкою поднялась ужасная возня, запищали гудки, рожки и всякие другие инструменты; загремели бубны и тарелки; потом послышались человеческие голоса; целый хор песельников засвистал, загаркал, да как хватит плясовую – и пошла потеха!

– Ну-ка, хозяин, – проговорил козак с красноватым носом, уставив на батюшку свои зеленые глаза, – посмотрим твоей удали!

– Нет! – сказал батюшка, начиная понимать как будто бы сквозь сон, что дело становится неладно. – Забавляйтесь себе сколько угодно, а я плясать не стану.

– Не станешь? – заревел толстый козак. – А вот увидим!

Все гости вскочили с своих мест. Покойного батюшку начала бить лихорадка, – да и было от чего: вместо четырех хотя и не красивых, но обыкновенных людей стояли вокруг него четыре пугала такого огромного роста, что когда они вытягивались, то от их голов трещал потолок в комнате. Лица их не переменились, но только сделались еще безобразнее.

– Не станешь! – повторил, ухмыляясь насмешливо, подьячий. – Полно ломаться-то, приятель! И почище тебя с нами сплясывали, да еще посторонние; а ведь ты наш.

– Как ваш? – сказал батюшка.

– А чей же? Ты человек грамотный, так, верно, читал, что двум господам служить не можно; а ведь ты служишь нашему.

– Да о каком ты говоришь господине? – спросил батюшка, дрожа как осиновый лист.

– О каком? – перервал большеголовый козак. – Вестимо, о том, о котором я тебе говорил за ужином. Ну вот тот, которого слуги ложатся спать не молясь, садятся за стол не перекрестясь, пьют, веселятся да не верят тому, что печатают под титлами.

– Да что ж он мне за господин? – промолвил батюшка, все еще не понимая порядком, о чем идет дело.

– Эге, приятель! – подхватил подьячий. – Да ты никак стал отнекиваться и чинить запирательство? Нет, любезнейший, от нас не отвертись! Коли ты исполняешь волю нашего господина, так как же ты ему не слуга? А вспомни-ка хорошенько: молился ли ты сегодня, когда прилег соснуть? Перекрестился ли, садясь ужинать? Не пил ли ты, не веселился ли с нами вдоволь? А часа полтора тому назад, когда ты прочел вон в этой книге слово: «Наш еси, Исакий, да воспляшет с нами!» Что? разве ты этому поверил?

Вся кровь застыла в жилах у батюшки. Вдруг как будто бы сняли с глаз его повязку, хмель соскочил, и все сделалось для него ясным.

– Господи Боже мой!.. – проговорил он, стараясь оградить себя крестным знаменем, да не тут-то было!

Рука не подымалась, пальцы не складывались, но зато уж ноги так пошли писать! Сначала он один отхватывал голубца с вывертами да вычурами такими, что и сказать нельзя; а там гости подцепили его, да и ну над ним потешаться. Покойник, рассказывая мне об этом, всегда дивился, как у него душа в теле осталась. Он помнил только одно, как комната наполнилась дымом и огнем, как его перебрасывали из рук в руки, играли им в свайку, спускали как волчок, как он кувыркался по воздуху, бился о потолок, вертелся юлою на маковке и как наконец, протанцевав на голове казачка, он совсем обеспамятел.

Когда батюшка очнулся, то увидел, что лежит на канапе и что вокруг его стоят и суется его слуги.

– Ну что? – прошептал он торопливо и поглядывая вокруг себя, как полоумный. – Ушли ли они?

– Кто, сударь? – спросил один из лакеев.

– Кто! – повторил батюшка с невольным содроганием. – Кто!.. Ну вот эти козаки и приказный...

– Какие, сударь, козаки и приказный? – перервал буфетчик Фома. – Да сегодня никаких гостей не было, и вы не изволили ужинать. Уж я дождался, дождался; и как вошел к вам в комнату, так увидел, что вы лежите на полу, все в поту, изорванные, растрепанные и такие бледные, как будто бы, – не при вас будь слово сказано, – коверкала вас какая-нибудь черная немочь.

– Так у меня сегодня гостей не было? – сказал батюшка, приподымаясь с трудом на ноги.

– Не было, сударь.

– Да неужели я видел все это во сне?.. Да нет! быть не может! – продолжал батюшка, охая и похватывая себя за бока. – А кости-то почему у меня все так перемяты?.. А эти две свечи?.. Кто их на стол поставил?

– Не знаю, – отвечал буфетчик, – видно, вы сами изволили их зажечь, да не помните спросонья.

– Ты врешь! – закричал батюшка. – Я помню, их принес Андрей; он и на стол накрывал и кушанье подавал.

Все люди посмотрели друг на друга с приметным ужасом. Ванька-гуслист хотел было что-то сказать, но заикнулся и не выговорил ни слова.

– Ну что ж вы, дурачье, рты-то разинули? – продолжал батюшка. – Говорят вам, что у меня были гости и что Андрей служил им за столом.

– Помилуйте, сударь! – сказал буфетчик Фома. – Иль вы изволили забыть, что Андрей около недели лежит больной в горячке.

– Так, видно, ему сделалось лучше. Он ровно в десять часов был здесь. Да что тут толковать! Позовите ко мне Андрея! Где он?

– Вы изволите спрашивать, где Андрей? – проговорил наконец Ванька-гуслист.

– Ну да! Где он?

– В избе, сударь; лежит на столе.

– Что ты говоришь? – вскричал батюшка. – Андрей Степанов?..

– Приказал вам долго жить, – перервал дворецкий, входя в комнату.

– Он умер!..

– Да, сударь. Ровно в десять часов.

1835

## Александр Шаховской (1777–1846) Нечаянная свадьба

Дед матери моей Владимир Львович Ш... в был, судя по реляциям его генерала и тестя, отличным офицером, по словам моей бабушки, а его дочери, чадолюбивым отцом, по рассказам старинного его слуги, добрым господином, а по портрету, списанному с него каким-то славным италийцем, прекрасным мужчиною. Однако же, несмотря на все эти достоинства, его записали только простым рейтаром<sup>1</sup> в новоформированную конную гвардию, где, потерши, как у нас говорится, лямку, он произведен в ефрейт-капралы,<sup>2</sup> в виц-вахмистры, наконец, в вахмистры<sup>3</sup> и в этом чине отправился в армию с гвардейским эскадром, назначенным для почести в конвой графа Миниха.<sup>4</sup> Под Хотинем пожалован в корнеты, но, по неимению достатка, нужного для содержания себя в гвардии, выпросился в драгунский полк секунд-майором.<sup>5</sup> В этом новом звании он отличился в каком-то шармицеле<sup>6</sup> при глазах генерал-аншефа<sup>7</sup> князя Б... и вскоре поступил к нему в генерал-адъютанты,<sup>8</sup> что уже само собою производило его в премьер-майоры.<sup>9</sup> По окончании кампании, когда генералы с их адъютантами отправились на зиму в столицы, князь Б... оставивший в Москве свое семейство, возвратился в нее и, въехав в княжеские белокаменные палаты, приказал для адъютантов своих нанять поблизости приличные квартиры, кажется, для того, что, имея взрослую дочь, не хотел, чтобы молодые офицеры жили с нею под одной кровлей, а пуще княгиня боялась, чтоб дочь ее не попала на язык нашим московским тараторкам, от которых, как говорил шут Андриюшка, сами щебетуны сороки из Москвы, стыда ради, вылетели и не смеют в нее носа показать. Как бы то ни было, только генерал-адъютант должен был поместиться в деревянном доме, купленном под чужим именем княжим крепостным управителем.

По уставу Петра Великого, адъютанты давались генералам не для одной только воинской службы, но и для облегчения их в домашнем хозяйстве. Прадед мой должен был принять на себя надзор над княжим домом и трехсотною его дворней, на что бы я никак не согласился и лучше бы хотел тереться во фронте десять лет секунд-майором, чем через три года из генеральской кухни и конюшни выскочить в подполковники. Но тогда видели все иначе, и известный своею щекотливою честью прадед мой, Владимир Львович, нимало не оскорбляясь, был, можно сказать, главным дворецким своего начальника и находил по причине, которую скоро узнаете, эту обязанность не только не тягостною, но даже приятною. Исполняя с достойною всякого немца аккуратностью поручения князя Юрия Богдановича, угождая домашними распоряжениями и дешевыми покупками княгине Марфе Андреевне и танцуя совершенно курант и лабуре<sup>10</sup> с княжной Марьей Юрьевной, он заслужил от всех трех сиятельств большую доверенность, и они все, каждый по-своему, очень его любили. Вся Москва, согласно с молодою княжною,

<sup>1</sup> *Рейтар* – солдат тяжелой кавалерии – обычно из наемных иностранцев – в Западной Европе в XVI–XVII вв. и в Российском государстве XVII в.

<sup>2</sup> *Ефрейт-капрал* – воинское звание младшего командного состава в русской армии XVIII в.

<sup>3</sup> *Вахмистр* – звание и должность унтер-офицера в кавалерии.

<sup>4</sup> *Миних Бурхард Кристоф* (1683–1767) – русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал.

<sup>5</sup> *Секунд-майор* – офицерский чин, существовавший в русской армии в XVIII в. и соответствующий позднему чину капитана.

<sup>6</sup> *Шармицель* – стычка, перестрелка (нем.).

<sup>7</sup> *Генерал-аншеф* – высший генеральский чин в Российском государстве XVIII в.

<sup>8</sup> *Генерал-адъютант* – одно из высших воинских званий в России (XVIII – начало XX в.).

<sup>9</sup> *Премьер-майор* – штаб-офицерский чин в русской армии, введенный Петром I в 1711 г.

<sup>10</sup> *Куранта, лабуре* – старинные придворные танцы.

находила Владимира Львовича прекрасным и любезным человеком; да, по несчастью, он был только премьер-майором, то есть почти ничем перед своим генерал-аншефом. За ним, нераздельно с четырьмя братьями и двумя сестрами, считалось около пяти сот степных душ, что, по верной смете его генеральши, едва ли составляло сотую часть их княжеского имения. Род его хотя и происходил от какого-то мурзы Золотой Орды, получившего при крещении от царя Иоанна Васильевича богатое имение, но, по большому расположению своему, попал почти в мелкопоместное дворянство, и эти причины заставляли князя Б... братьев и племянников его начальника и графов С... родственников его повелительницы, удостоивать бедного адъютанта ласковым словом и готовностью покровительствовать, а не больше. Но молодая родственница их сиятельств находила его лучшим мужчиной и первым танцовщиком по всей Москве, и этого было для нее достаточно. Бабушка моя, любя рассказывать похождения своего отца, объяснила взаимные чувства его с княжной Марьей Юрьевной русской пословицей: «Сердце сердцу весть подает». Но у княгини Марфы Андреевны, как она же сказывала, были на языке другие пословицы, например: «Знай, сверчок, свой шесток», «Не летай, ворона, в высокие хоромы» и «Не в свои сани не садись». Всякий раз, когда мой прадед задумывал о красоте доброй княжны и о благополучии того, кто сподобится быть ее супругом, эти княгинины пословицы отдавались в памяти его зловещим криком ворона: тогда тяжкий вздох вылетал из его груди; но он иногда, вспомнив свои воинские удачи, приободрясь, говаривал, в свою очередь: «Терпи, казак, атаман будешь», а иногда, повеся голову и прошептав: «Плетью обуха не перешибешь», – шел уныло, чтоб размыкать грусть свою, к исполнению своей должности, которая часто давала ему случай схватить на лету ласковый взгляд княжны Марьи Юрьевны.

В это самое время приехал из Петербурга в Москву известный тогда франт камергер граф Ч... промотавшийся при дворе императрицы Анны Иоанновны. Тогда, как рассказывала бабушка, придворные кавалеры должны были ко всякому высокотожественному дню и большому празднику шить себе новые кафтаны из парчей, бархата с золотыми накладками и пуэндеспанами,<sup>11</sup> которые становились, каждый, по крайней мере в триста тогдашних рублей, а большие щеголи платили за одну пару кружевных манжет до пятидесяти червонных и отсылали мыть белье в Голландию. Граф Ч... не хотевший ни от кого отстать в роскоши, принужден был прибегнуть к последнему средству, то есть поскакать в Москву, чтобы подняться на ноги женитьбой, что обещала ему сладить тетушка его, Варвара Селиверстовна, принятая за свою во всех знатных домах. Она, как водится еще и теперь у цеховых свах, на первый случай представила племяннику своему формулярные списки всех тогдашних невест, приличных его званию и чину, с означением их лет, примет, имения и обучения. Номер первый по старшинству совсем не понравился нашему петербургскому графу; над номером вторым он позадумался: все было хорошо, да невеста слишком позасиделась в девицах; номер третий очень бы годился, по личным качествам, да не довольно богат; номер четвертый был бы совершенно удовлетворителен, когда бы, к несчастью, батюшка невестин, по старорусскому упрямству, не был в размолвке со всеми случайными людьми. На номере пятом пришел жених в восторг: под ним было поставлено: «Княжна Марья Юрьевна, едиnorodная дочь генерал-аншефа и кавалера, восемнадцать лет, девять тысяч душ отцовских, а матери приходит большое наследство от восьмидесятилетнего деда; росту высокого, волосы темно-русые, брови черные, лицом красавица, говорит по-немецки, понимает по-французски, играет по нотам на клавирах и танцует так, что загляденье...»

– Ах, тетушка! – вскричал камергер, целуя ручку Варвары Селиверстовны, – вот когда бы вы, по милости своей, высватали мне эту невесту, то благодарность моя была бы беспредельна...

---

<sup>11</sup> *Пуэндеспан* – шелковые, серебряные и золотые кружева.

– Ох, ох, графушка! – отвечала тетка. – Ты уже слишком затейлив. Отец ее метит в генерал-фельдмаршалы; матушка куда заносчива!.. Да она что-то не путем и прихотлива: отбоярила уже двух женихов – да каких!.. Ивана Сергеевича Щ\*\*\*; Карла Астафьевича Б\*\*\*, в котором сам герцог Курляндский<sup>12</sup> души не слышит. Мать была готова вести ее под венец хоть с тем, хоть с другим; и отец бы, верно, не прочь; да как она сказала ему наотрез: «Воля ваша, батюшка! Я не могу вам не повиноваться, но я их обоих не люблю; и если вы не желаете моей гибели, не выдавайте ни за того, ни за другого...» Генерал разжалобился, а мои женишки снова просили меня хлопотать о других невестах, которых, слава Богу, у нас, на Москве, не занимать стать: найдется и для них, и для тебя, кроме этой причудницы.

– Да почему же вы думаете, – возразил племянник, – что она меня не полюбит. Моя фамилия гораздо знатнее, и сам я, без самолюбия скажу, могу больше понравиться благовоспитанной девице: я принят везде хорошо, знаю и по-французски, бывал при посольстве в чужих краях, а по родству с вице-канцлером надеюсь сам при первой вакансии попасть куда-нибудь в посланники.

– Все это так, и избави меня Господи порочить твои достоинства; да знаешь ли, какая молва идет у нас по Москве? И я сама подметила кое-что, а слышала от домашних княгининых еще больше.

– Что такое, тетушка?

– Наша невеста избалована батюшкою, который сам ходит с ума на своих военных людях. Ей все безмундирные сделались трын-травой, и она пустилась вот в какие продерзости: у ее отца есть фаворит, адъютант, малый, впрочем, хороший, да без рода и племени; за ним ни кола ни двора, и из гвардии вышел затем, что не на что мундиришка сделать: только на беду мастер танцевать и такой на все услужливый, что и сама княгиня им не нахвалится. Да это не пущая беда: она женщина характерная и не захочет себе срама; но дочка пошла в батюшку и без всякого стыда обходится с адъютантом как с равным себе. Я сама своими ушами подслушала, как на куртаге<sup>13</sup> у главнокомандующего она, уронивши опахало, которое он по должности поднял, сказала ему: «Как я вам благодарна: вы так снисходительны!» Снисходительны! И кто же? Майорчик! «Что не откажете мне», – в чем бы ты думал? – «протанцевать со мною курант!» – и в самую ту минуту, как барон Карл Астафьевич уже ей кланялся и поднимал танцевать, она, будто этого не заметя, подала ручку адъютанту и пустилась с ним выфантывать, – правду сказать, всем на диво.

– Да что ж, тетушка, и это за беда! Пусть майорчик ей нравится, но неужели вы думаете, что он может отбить у меня невесту, которую вы изволите за меня сватать?

– Сватать я рада, а за свадьбу не отвечаю. Разве не удастся ли стороной, через приятельницу, остеречь бедную княгиню от адъютантского умысла. Дивлюсь, как еще до сей поры никто из христианского долга и из уважения к их знатному дому не вступился за их честь и не уговорил князя сбывать скорее с рук неблагодарного наглеца!..

Через несколько дней после разговора графа Ч... с его теткой княгиня вдруг стала очень сухо обходиться с генерал-адъютантом своего мужа; начала придирается ко всем неисправностям слуг, находить, что пьяница повар, верно влюбившись, пересаливал все кушанья, и отпускала разные подобные обиняки. Наконец и сам князь заговорил о выпрашивании своего любимца в подполковники, хотя он еще не выслужил при нем положенных лет. Граф Ч... представленный уже в дом и его сиятельству, услышав генералово желание, просил, в присутствии прадеда моего, позволения писать в Петербург к своему другу о скорейшем представлении предположенной просьбы, что очень оскорбило Владимира Львовича, и он преучтиво

---

<sup>12</sup> Герцог Курляндский – Бирон Эрнст Иоганн (1690–1772), герцог Курляндский, российский государственный деятель, фаворит Анны Иоанновны, фактический правитель России в период ее царствования.

<sup>13</sup> Куртаг – прием, приемный день в царском дворце.

попросил подозрительного ему графа не трудиться за него и не лишать его удовольствия быть обязанным только одному своему начальнику и благодетелю. Тогда еще никто не стыдился признаваться публично в получаемых благодеяниях. Камергер принял эту просьбу с сладко-кислою улыбкой и отделался из уважения к своему званию довольно вежливым поклоном. Но князь, заметив в глазах своего адъютанта батальный огонь, сказал ему:

– Я благодарю графа за его предложение, но почитаю ненужным утруждать его и надеюсь, что наше дело и само не замедлится.

Может быть, никому никакая надежда не была так неприятной, как эта моему прадеду; однако он принужден был, не поморщась, ее проглотить и доложить своему начальнику, что не чувствует еще себя достойным лестной награды, которую угодно его сиятельству ему испрашивать, и никак не желает прослыть в армии счастливым выскочкой. Князь, в свою очередь, попросил адъютанта предоставить ему судить и знать достоинства его подчиненных. Таким образом, эта круговая просьба, не приятная ни одному из трех просимых, окончила разговор о производстве. Прадед мой, взяв шляпу, потупя голову и, по обыкновению, выговоря медленно: «Плетью обуха не перешибешь!», отправился вздыхать на свою квартиру и ждать поневоле с терпением воли Божией.

Уже несколько дней продолжалось холодное с ним обращение всех сиятельств, домашних и приезжающих, кроме самого младшего, но важнейшего для него. Чем больше хмурились другие, тем больше оно прояснялось, только как будто украдкой. Между тем граф Ч... под штандартом своей тетки, открыл кампанию, сперва партизански, нападая нечаянно на слабые места неприятеля, а наконец, ободренный известиями переметчиков, предпринял формальную атаку на главную батарею, то есть на княгиню, которая хотя при всех целовала ручки своего почтенного супруга, однако, один на один, не пропускала случая завладеть его ухом, а иногда потихоньку и за нос водить. Варвара Селиверстовна, как вдова инженер-полковника, подвела мины и пустила племянника своего по покрытому пути, в ожидании взрыва, который был произведен следующим образом. Шпион инженерши, бедная бригадирша, проживавшая для гадания в карты у княгини, заметила, что адъютант в то время, когда княжна Марья Юрьевна протверживает в маленькой гостиной уроки на клавирах, обыкновенно прислуживался ей перевертыванием нот и разговаривал с нею, о чем донесено Варваре Селиверстовне, а Варвара Селиверстовна научила ее намекнуть об этом княгине, которая, вследствие того, попросила свою добрую приятельницу наблюдать за Машей и сказывать ей все, что заметит. Однажды – это было после обеда, – когда гости разъехались, князь ушел к себе отдохнуть, а княгиня в уборной что-то приказывала своим барским барыням, княжна занялась музыкой, а адъютант явился к своей прислуге и заговорил о чем-то похожем на любовь. Бригадирша, сидевшая в углу с чулком, будто не ее дело, подслушала несколько подозрительных слов и – шмыг! – тихонько с рапортом к ее сиятельству, которая подседа у не совсем дотворенной двери маленькой гостиной. На беду моего прадеда, он, чтобы ловчее переворачивать ноты, положил шляпу свою на клавикорды, а княжна невзначай ее свалила. Вежливый кавалер бросился не допустить ее поднимать, она поторопилась предупредить его, учтивость столкнула их лбами, и очень больно; оба начали просить прощения, и адъютант, увлеченный извинениями, не мог не поцеловать ручки у дочери своего генерала. Поцелуй, данный от всего сердца, раздался по комнате. Княгиня его услышала, вошла и увела дочь свою в образную, где целый час читала ей нотации, не слушая никаких оправданий, и наконец послала ее на антресоли, грозя все сказать отцу. Это действие подведенной мины было тотчас передано в неприятельский лагерь, и искусный стратегик, Варвара Селиверстовна, не теряя времени, хотела им воспользоваться. Дан приказ племяннику отправить немедленно парламентаря с предложением о сдаче. Расчет свахи оказался очень верным. Княгиня, считая, по звучности поцелуя, дела дочери своей гораздо в опаснейшем положении, рада была первому приличному сватовству, чтоб спасти ее

от невесты «инклинации»,<sup>14</sup> а может быть – чего Боже упаси! – и от «пасквильной истории». Брат ее, граф С... на другой же день явился парламентом от камергера, поместившего уже в пажи его сына. Княгиня выслушала предложение, поблагодарила за дружбу братца и обещалась, как должно, сообщить мужу, что и было через час исполнено, – хотя с утайкой громкого поцелуя, но с сильными убеждениями для избежания всяких хлопот выдать скорее Машу за порядочного и притом случайного человека. Князь, хотя и не очень был против камергера, не столько по его личным достоинствам, как по родственным связям, однако не хотел приступить к делу, не поговорив прежде с дочерью, чего крайне не хотелось матушке. Зная, что явным противоречием ничего, кроме беды, от генерала не добиться, она сама велела позвать княжну к батюшке в кабинет. Бедная невеста с заплаканными глазами входит; отец, будто не примечая ее грусти, ласково сажает подле себя и, после маленького предисловия о необходимости устроить ее участь, о обязанностях дочери и о всем, что при таких случаях говорится, объявляет ей предложение графа Ч... Дочь побледнела как смерть, упала к отцовским ногам, просила именем Божиим не выдавать ее ни за кого замуж, а для спасения души и моления за него позволить ей идти в монастырь. Эти слова произвели тогда ужасное действие, и оробевший в первый раз генерал готов был сдаться на условиях; но хитрая генеральша, притаившаяся за китайскими ширмами, подоспела к нему на помощь и внезапно открыла ужасный огонь против непослушной дочери, которая выдержала его с непоколебимою твердостью; но все, чего наступательница в продолжении двух часов могла добиться, состояло в том, что дочь ее призналась в отличном уважении своем к Владимиру Львовичу, которого предпочитала всем бывшим, настоящим и будущим женихам. Со всем тем, не требуя неугодного родителям, она просила только не выдавать ее за графа и не противиться небесному влечению души ее. Отец, вступивший в посредничество, умилился ласкою сердце дочери, но не мог долго переносить ее чрезвычайной горести, и договор заключен, как по большей части бывает, уступкою требований с обеих сторон. Княжне дали слово не говорить больше о сватовстве князя Ч... а она обещалась не упоминать о монастыре, и обе уговорившиеся стороны расстались с нежными обниманиями. Все это немедленно было доведено до сведения Варвары Селиверстовны, которая заключила по слышанному, что дело с номером пятым было совершенно кончено и что ей должно для племянника попробовать счастья с номерами шесть или семь. Но как честь ее была чувствительно оскорблена неудачею сватовства, то она не могла преминуть, чтобы не распустить стороною кое-каких слухов о несчастной страсти княжны Марьи Юрьевны к бедному адъютанту ее отца.

Пришли Святки. Генерал получил из Петербурга уведомление, что производство, о котором он просил, выйдет непременно в новый год, и, если его сиятельству не противно, сам генерал-фельдмаршал Ласси,<sup>15</sup> зная лично нового подполковника, охотно возьмет его к себе на вакансию генерал-адъютанта его, Брауна,<sup>16</sup> поступившего в полковники. Князю вдруг сделалось очень грустно, что он должен расстаться и уступить другому храброго и верного сподвижника; но слухи, распущенные свахою и доведенные до него, не позволяли ему оставаться в нерешимости. Скрепя сердце, он подвел к себе, накануне Нового года, любимейшего из всех своих подчиненных и будто с радостью объявил ему о государственной милости. Обрадованный еще менее своего начальника прадед мой, поблагодаря его, торопился к старшему княжескому флигель-адъютанту сказать, что он очистил ему вакансию, и утешить себя удовольствием, доставленным другому.

Шпионка бригадирша, догадавшись, что ее покровительнице, Варваре Селиверстовне, не везет в княжеском доме и что дочка поставила на своем, перекинулась к ней, стала раскла-

---

<sup>14</sup> *Инклинация* – склонность, влечение (*фр.*).

<sup>15</sup> *Петр Петрович Ласси* (Петр Эдмонд) (1678–1751) – граф, военачальник, генерал-фельдмаршал. В 1700 г. перешел на русскую службу в чине поручика. Участвовал в Северной войне и других войнах.

<sup>16</sup> *Юрий Юрьевич Браун* (Броун) – генерал-аншеф, генерал-губернатор Финляндии.

дывать карты, в которых всегда червонная масть ложилась на сердце крестовой дамы, а крестовая над головой червонного короля, и, входя насильно в горькое положение доброй своей княжны, уговаривала ее так, для разогнания скуки, позабавиться святочным гаданьем о суженом-ряженом. Бригадиршины уговоры отвергались для соблюдения приличия, но княжна не совсем насильно была выведена ею за ворота. Спросили у прохожего, как его зовут. Судьба или шутка, а может быть, и самая главная загадчица заставили какого-то бежавшего мальчугана назваться Владимиром. Все сенные девушки засмеялись, и сама барышня улыбнулась. А как она вышла уже первый раз, то ничего не стоило ей остановиться и послушать у людского окошка, чье имя там вымолвят: и там опять услышала: «Эх, брат, иди, куда велят, или я пожалуюсь Владимиру Львовичу». При том имени слушательница отскочила от окна и возвратилась тихомолком в свою комнату. Там прислужливая бригадирша предложила третье и самое верное гаданье: в Васильев вечер, то есть накануне Нового года, в княгининой теплой кладовой, в самом верхнем этаже, накрыть стол, поставить на нем два прибора, три большие восковые свечи и зеркало, а невесте, севши за ним, загадать: суженый-ряженный, приди со мной ужинать, и кто покажется в зеркале, за тем и быть. Хотя это гаданье и не пугало княжны, но ей казалось неприличным идти перед полночью почти на чердак, притом и кастелянша, у которой ключ от кладовой, может сказать матушке. Но бригадирша взялась достать ключ так, что сама кастелянша не проведает; побожилась, что девушки не изменят своей доброй боярышне, все в доме улягутся спать, огонь везде погасят, – так кому увидеть? А бояться одной нечего: все станут в коридоре, близехонько от двери. Если суженый покажется в зеркале, стоит только промолвить три раза «чур меня!», легонько ударить по стеклу, и он мигом исчезнет.

Кто из нас, когда ему две загадки удались, откажется от третьей? Дело было скоро решено, ключ украден, стол накрыт, свечи и зеркало поставлены, княжна проведена в кладовую, посажена за стол, девушки и сама профессорша ворожбы вышли, прижались в коридоре и на лестнице и ожидали с замиранием сердца, появится ли суженый.

Уже давно в Кремле пробило одиннадцать часов, когда прадед мой, отужинав у обрадованного им товарища и выпив за здоровье будущего премьер-майора, возвращался мимо генеральского дома в свою квартиру. Проходя под окнами той, кого страстно любишь и с кем должно расстаться, как не поглядеть на них, как не припомнить и того и другого, случившегося там, где уже скоро не будет несчастного любовника? А как Владимир Львович считал себя самым несчастным из всех страстно влюбленных, то он не только поглядел на окна, но остановился перед домом и, перенося воспоминания из потемнелого бельэтажа в антресоли, вдруг поднял глаза вверх. Увидев необыкновенный свет в подкровельных окошечках, он очень удивился, но не мог придумать, у кого бы это был там в полночь огонь, да еще такой яркий. Он начал с угла считать окошки и, досчитавшись, что непременно должна быть освещена кладовая, в которую даже и с фонарем никто не ходит, очень испугался, и, по пословице «У страха глаза велики», – ему показалось уже пламя. Уверенный, что там пожар, он пустился опростелью по задней лестнице в самый верхний коридор, что-то белое, как будто женское платье, мелькнуло перед ним. Он окликнул: никто не отвечает ему. Боясь потерять время, он бежит далее: маленький просвет, выходящий из не вовсе дотворенной двери, его останавливает, он распахивает дверь и только переступил через порог, как слышит крик: «Чур меня!» – и звук разбитого вдребезги зеркала. Он бросается на крик и видит перед столом женщину, лежащую без чувств и в крови. Ужас поражает его: он всматривается и узнает самую княжну! Не постигая, что это значит, он почти падает на пол, хочет поднять бездыханную, но вдруг визг женских голосов пронзает его уши. Он оглядывается и видит вбежавшую бригадиршу и двух девушек, которые, только успев взглянуть на него и на княжну, убегают из комнаты, крича: «Помогите, помогите!..» Старуха хотела было бежать, но ноги ее подкосились, и она упала на сундук, рыдая и приговаривая: «Ах! Что я наделала?! Ах! Что будет со мною?»

– Эх! Не в вас дело! – вскричал, опамятавшись, адъютант. – Смотрите, в каком она положении! Ступайте сюда; помогите мне посадить ее на стул, привести в чувства.

Говоря это, он дрожащими руками и с трепещущим сердцем поднял бесчувственную, посадил или, лучше сказать, положил на стул. Бригадирша, увидев на руках, груди и лице ее кровь, всплеснула руками и пуще прежнего заревела:

– Ах я старая дура! Ах я греховодница! Вот тебе и суженый!..

А суженый, между тем, держа одной рукой положенную на стул, притянул другою старую дуру и заставил ее придерживать княжну; сам бросился перед нею на колени и, не зная, с чего начать, грел на сердце оледенелые руки, тер подошвы ног и, забывшись, поцеловал их с таким жаром, что возбудил замерзлую жизнь в прелестной гадательнице. Только что успела она открыть глаза и вскрикнуть, увидев у ног своего суженого, как вся кладовая заполнилась народом. Слуги с водой, девушки с унгарской водкой, домашний лекарь с целой аптекой и, наконец, сам князь с своей княгиней вбежали и остолбенели от ужаса и удивления...

– Что это!.. Как ты здесь? – спросил наконец генерал своего адъютанта, продолжавшего помогать княжне, как будто никого перед ним не было.

Не дождавшись его ответа, спрашивал дочь: «Что с тобою сделалось?» Бригадиршу: «Боже мой! Она в крови?» Лекаря: «Не ранена ли она?» Жenu: «Что это значит?» Все эти вопросы, пущенные беглым огнем, не мешали, однако ж, ему ощупывать руки и голову своей дочери и прижимать их к сердцу. Очнувшись от испуга, все вдруг бросились помогать больной и чуть не повалили ее опять на пол; но лекарь, растолкнув толпу, водою и спиртом привел обмершую в чувство. Первое ее слово, когда она очнулась, было: «Я видела моего суженого... Он... тут!..»

Она взглянула на принятого ею за привидение, вздрогнула и упала, рыдая, на отцовскую грудь.

– Он твой суженый! – вскрикнул отец с выражением, похожим на вопрос и на ответ; потом вдруг остановился, задумался, отер с лица пот, текущий градом, и, как будто собравшись с мыслями и духом, произнес решительно: – Да, точно суженый!.. Я уверен, к чести рода моего, что еще ни с одной княжной Б... посторонний мужчина не бывал в полночь наедине, не падал перед нею на колени и не целовал ее ног, кроме ее суженого!

– Ах! Батюшка, князь Юрий Богданович! – сказала княгиня, уже между тем услышавшая от бригадирши, в чем дело. – Знаешь ли ты, отчего произошло?..

– Немудрено догадаться, – отвечал муж, – твоя прихвостница заманила сюда Машу праздновать святочному бесу. Вот улика: накрытый стол, разбитое зеркало и три свечи... Он вошел.

– Клянусь, сударь, – прервал адъютант, – что я не знал, а проходя мимо, увидел огонь в необыкновенном месте и, страшась пожара, прибежал...

– В самую пору, – договорил князь. – Я давно знаю, что ты никогда не опаздывал в огонь и брал все награды с бою: так и теперь, грех будет лишить тебя заслуженного!

– Как, батюшка? – спросила трепещущая от страха при мужниных словах княгиня.

– Так же, сударыня! Вот наш зять, люби его и жалуй.

С этим словом он сложил руки своей дочери и адъютанта и, сжав их вместе, сказал:

– Поцелуй ее теперь в губы, а не в ногу: это приличней нашему брату воину.

Слезы, восклицания благодарности, коленопреклонения и все везде описанные изъяснения радостного восторга заставили плакать не одну бригадиршу. Княгиня, видя, что уж нечего делать, принуждена была радоваться, когда самовластный во многих случаях супруг ей сказал:

– Что же ты не обнимаешь зятя? Разве бы тебе приятнее было, чтобы она, открывшись в любви к одному человеку, вышла за другого с тем, чтоб его обманывать, или, узнав, что ему известна страсть ее, стыдиться, а может быть, презирать мужа, который взял ее не по склонности, из одного приданого, и быть вечной страдальницей? Чем он тебе не нравится? Он не чино-

вен, но кто помешает ему дослужиться до чинов? Он беден, да мы за себя и за него богаты. Род его честный и благородный, а главное то, что он ей мил и мне люб: впрочем, не мы его искали, не он хитростью или силой вошел в наше семейство, – Бог его нам дал; а от Него, как сама знаешь, всякое деяние благо, всяк дар совершен. Ну, дети, да благословит вас Бог!

– Да благословит вас Бог! – примолвила княгиня...

И чрез несколько дней была празднуема нечаянная свадьба моего прадеда.

*1834*

## Нестор Кукольник (1809–1868) Леночка, или Новый, 1746 год

### I

– Батюшки-светы! Олександро Сергеич! Ты ли это?..

– Безотменно я, сам, своею персоною и с прикладом сынишки...

– Неужели у тебя такой большой сын?

– Ростом, да не летами. Подросток, недоросль; всего-то ему двадцать третий годок пошел... привез в резиденцию. Хочу ему тут амплуа отыскать. Да теперь трудненько будет. Милостивцев моих протекторов нет... Об них, чай, официально нигде и не разговаривают...

– Полноте, Олександро Сергеич! Что ты это! Служил при Бироне! Ну, служил, велика беда. Все тогда сервису искали у герцога... Ты ведь в политических его маневрах тейльнаму (участия) никакого не принимал...

– Какой тейльнам! Я, как только смекнул про семеновские прожекты,<sup>17</sup> на параде с коня повалился и будто у меня большая маладия<sup>18</sup> приключилась; так и пролежал во всю суматоху. Да что ты станешь чинить, когда моему малёру<sup>19</sup> не поверили и учили следствие производить. Я догадался, чего им хочется; в отставку – и дня не задержали, абшид гонорабельный<sup>20</sup> прислали и паспорт на выезд от Татищева. Я опять догадался, скорее в деревню спрятался. Ты, Иван Иваныч, милитерного<sup>21</sup> нрава и обычая не знаешь; ты живописных дел мастер, а мы-то в чине поручика гвардии по всем дворцам ходили, всякое видели! Того и жди, подслушают, к Петру Ивановичу спровадят. Не о том теперь речь. Остановился я на почтовом дворе. Оно все-таки и почтовый двор, а все кабаком пахнет. Да и оставаться же там надолго непрезентабельно; и еще в какой грустный комераж<sup>22</sup> попадешь. Не знаешь ли кварталы, ранга к достатку моему конвенабельной...<sup>23</sup>

– И весьма знаю. У Ивана Ивановича Вешнякова.

– У тебя?

– У меня! И к тому же я теперь коллежскую ассессорию имею, так и не стыдно будет...

– Поздравляю, душевно поздравляю... Ну а принципал твой, фон Растреллий?

– И он повышен. Уже теперь не фон, а де Растрелли.

– Вот как! Из немцев в французы...

– Перестаньте, Олександро Сергеевич! Переезжайте лучше ко мне, так наболтаемся еще вдоволь...

– Быть по-твоему. Все равно кому платить; а где же ты живешь?

– На самом юру... Изволишь видеть, за этим плацем на речке Мойке дома разбросаны; тут живут и коллежские, и статские советники, да и сам Его Превосходительство господин Шаргородский тут резиденцию имеет. Тут все равно что в Миллионной или в Морской. Конечно, на Невской першпективе или в другом месте можно за алтын жить, да ведь и я с тебя

---

<sup>17</sup> *Семеновские прожекты* – подготовка дворцового переворота, совершенного в 1741 г. гвардией, в результате которого на престол взошла Елизавета Петровна.

<sup>18</sup> *Маладия* (фр. *maladie*) – болезнь, недомогание.

<sup>19</sup> *Малёр* (фр. *malheur*) – несчастье, беда.

<sup>20</sup> *Абшид гонорабельный* – почетная отставка.

<sup>21</sup> *Милитерный* (фр. *militaire*) – воинский.

<sup>22</sup> *Комераж* (фр. *commerage*) – пересуд, сплетни.

<sup>23</sup> *Конвенабельный* (фр. *convenable*) – приличный, надлежащий, соответствующий.

дорого не возьму. Тут все одна богатель, самая знатная чиновность живет. А дом мой – вон с зеленой крышей и с красными трубами...

– Ошибиться трудно. Ну, так и бери же ты моего сынишку, а я отправлюсь на почтовый двор. Прощай!

– До плезиру вас видеть!

Александр Сергеевич пошел к Миллионной, а Вешняков с подростком к куче домов, которые занимали весь квадрат между Мойкой, Невским проспектом и площадью. Тут было немало улиц и переулков; этот квадрат походил на немецкий городок вроде Вольмара. Строения большею частью деревянные; но чистота отделки и светлые окна свидетельствовали о достатке и значении жильцов. Вешняков постучался в калитку, залаяла собака, ключ щелкнул, и высокая женщина отворила калитку.

– Никого не было? – спросил Вешняков по-итальянски.

– Были, были: и синьор Валерьяни,<sup>24</sup> и Каравакк,<sup>25</sup> и Мартелли,<sup>26</sup> и Перизиното,<sup>27</sup> и Соловьев...<sup>28</sup>

– Бог с теми; а жаль, что Соловьев не обождал. Он, верно, приходил от Ивана Ивановича за портретом. Франческа, пойдем; присядь; я напишу руку с твоей, и портрет готов.

Франческа проворчала что-то и повиновалась. В мастерской стояло немало образов, изготовляемых для дворцовых церквей, картонов, портретов, эскизов. Глаза юноши разбежались; мастерская показалась ему волшебной храминой... он не обращал уже внимания на хозяина, а тот, между тем, усадил Франческу, взял у стены и поставил на мольберт женский портрет и принялся за кисть и палитру.

– Важная барыня! – сказал Вешняков, глядя на портрет. – Кому-то достанется? Графу или нашему? Уж эти двое всех других отогрут... Видишь, шельмовка, как улыбается: улыбку-то я поймал.

– Боже мой! – вскрикнул юноша пронзительным голосом и схватил себя за голову обеими руками. Франческа также вскрикнула и вскочила с перепуга. Вешняков едва не уронил кисти...

– Что с тобой? – спросил живописец.

Но юноша стоял как вкопанный, устремив пылающие взоры на портрет. Вешняков улыбнулся.

– Что, небось, прошибло. Да, брат, не у таких, как ты, дух захватывало от этой барышни. При дворе красавиц больше сотни, а эта первая. Разве только одна с нею поспорит; да и на ту только кланяются, а глядят на эту... Кто-то приехал... Погляди, Франческа!..

Франческа вышла. Вешняков продолжал восхвалять оригинал своего портрета, исчислял всех, очарованных ее прелестью; не кончил он своего панегирика, потому что в комнату вбежала, впорхнула молодая девушка; то была она, оригинал портрета. Взглянув на юношу, она остановилась, вспыхнула, едва внятно прошептала:

– Боже мой! Сережа! – И замешательство исчезло, оставив на бархатных ланитах яркий след, легкий румянец, который еще более возвысил ее дивную красоту.

– Ах, мосье Вешняков! Я забыла в карете своей веер! Потрудитесь послать...

– Сейчас, матушка Елена Николаевна, сейчас душком сбегая...

---

<sup>24</sup> *Валерьяни Джузеппе* (1708–1761) – придворный декоратор и перспективный живописец, работал для дворцов Зимнего и др.

<sup>25</sup> *Каравакк Луи* (1684–1754) – художник, мастер портрета, одна из значительных фигур русско-французских художественных связей «века Просвещения».

<sup>26</sup> *Мартелли Александр* – мастер росписи по штукатурке, лепной работе, литью.

<sup>27</sup> *Перизиното (Перезиотти) Антонио* (1708/1710–1778) – итальянский живописец декораций и перспективных видов. Приглашен в Россию в 1742 г., состоял придворным театральным живописцем в Санкт-Петербурге.

<sup>28</sup> Вероятно, имеется в виду Д. Соловьев, декоратор-монументалист.

Вешняков ушел. Сережа смотрел на Елену Николаевну, и глубокое изумление было написано на прекрасном лице его. Она любовалась замешательством юноши весьма недолго.

– Сережа!..

– Леночка!..

– Тс! Ни слова! Мы не знакомы. Мы никогда не видали друг друга. Ты погибнешь, если узнают...

– Мне все равно.

– Пожалей меня, Сережа! Умоляю тебя!..

– Вот он, вот, матушка Елена Николаевна, вот ваш веерок, у барыни... – кричал Вешняков, отворяя двери, в которые вошла толстая, распудренная, разукрашенная мушками старуха лет шестидесяти. Она была одета в дорогое платье из толстой шелковой материи, поверх которого был накинут бархатный полушубок на собольем меху. На голове шапочка меховая же из черных лисиц; под полушубком, который никогда не застегивался, потому что его и застегнуть нельзя было, висела широкая орденская лента; под ногами стучали золотые подковки. Странное смешение костюмов двух веков придавало строгому лицу барыни неприятную важность. Дородность делала движения ее медленными. Едва вдвинулась она в мастерскую, как Елена очень искусно поставила ей стул, спиной к Сереже. Вешняков все кланялся весьма низменно и подавал Сереже знаки, чтобы он вышел; но Сережа не видел Вешнякова, не видел старухи и даже Елены Николаевны: голова его упала на грудь, горе неисходное терзало его сердце; он ненавидел свет, себя, Елену. Он страдал мстью. Проект за проектом перебегали в пылком воображении... Он то горел, то леденел, и Бог знает, чем бы кончилась вся эта сцена, если бы старушка не завела разговора, поглотившего внимание юноши...

– Ах, бестия! – сказала она. – Какой ты мастер! Точь-в-точь Леночка, когда разговаривает с маркизом или когда амуруется с бароном; но уж ты мне, плутишка, как хочешь, а отмалюй барона с розой. Болван болваном! Не могу понять, как его приглашают *a la chasse*,<sup>29</sup> на карусель и в Сарское.<sup>30</sup> Правда, от него много плезиру, когда врать начнет. Да не всегда впопад. Намедни спугнул лисицу, а *renard*<sup>31</sup> совсем уж была на приманке. Государыня схватила рукава, а он как отпустит буфонство какое-то, все захохотали, а лисица *s'est sauve!*<sup>32</sup> Уж за ужином *il a regu pardon*,<sup>33</sup> когда отошло венгерское с пирогом и стали разносить наливку мою. А что ты, дурашка, кушал когда нашинские наливки?

– Не имел счастья, ваше сиятельство...

– Ну, так отмалюй мне барона с розой. Я тебе двадцать рублей и две бутылки смородиновки пожалую...

– Знаете ли что, Вешняков... – перебила Леночка, – вы уж сделайте *tableau*,<sup>34</sup> и маркиза, и графа...

– Маркиза, пожалуй, я согласен, а графа не хочу...

– Пустяки, *ma tante*<sup>35</sup> обидится; а графа я очень жалую.

– И я жалую, и потому-то и не хочу...

– Пустяки, пустяки! Если вы не согласитесь, *ma tante*, так я его сама нарисую и скажу, что вы приказали...

– Да послушай, Леночка!..

---

<sup>29</sup> На охоту (*фр.*).

<sup>30</sup> Сарское – Царское Село.

<sup>31</sup> Лисица (*фр.*).

<sup>32</sup> Спаслась (*фр.*).

<sup>33</sup> Он получил прощение (*фр.*).

<sup>34</sup> Картина (*фр.*).

<sup>35</sup> Тетушка (*фр.*).

– Да я уж все слышала! Мне граф надоел! Вообразил себе, будто уж на свете нет мужчин красивее...

– И нет-таки...

– А есть!

– Право, нет!

– Есть, есть и есть...

– Кто же это?

– Это уж мое дело!.. Вчера за моим туалетом сидело мужчин человек тридцать, и, право, кроме маркиза и барона, все лучше его... Ах, мосье Вешняков! Долго ли вы будете меня мучить? Сократите сеанс! Мне надо еще захватить к великой княгине; мы хотели вместе прочесть новый роман, до обеда... а теперь уже скоро одиннадцать... А в шесть часов хотел к нам быть кавалер дю Клерон; очень милый малый; он в нашем свете много значит; через него можно делать дела; он мне обещал...

– Ваш портрет кончен...

– Вы хотите сказать сеанс?

– Нет, портрет!

– Неправда, неправда! Пойдите, я посмотрю! О, тут еще тьма работы; вот чего-то недостает в глазах: они у меня ярче, теплее. Что это за волоса? Будто примазанные! Нет, я лучший судья в этом деле... Сегодня некогда, а завтра я к вам буду...

– Леночка, пожалей мою старость...

– Да кто вас просит ходить за мной, будто шлейф? Зачем же вы держите карлицу, Глафиру? Мы с нею приедем. А теперь пора. A Dieu! A Dio!<sup>36</sup> Как теперь говорят при дворе: прощайте! Поедем, ma tante... Ах! Скорее, скорее! Мы опоздаем. La Grande Duchesse Catherine m'attend depuis onze heures... Partons, partons!..<sup>37</sup>

И Леночка почти насильно вытащила тетушку из мастерской. Вешняков, смущенный замечаниями Леночки, стоял как вкопанный у портрета и даже не проводил своих гостей до кареты, что было совершенно противно его правилам... Опомнясь несколько, он ударил мушт-абелем<sup>38</sup> об пол, бросил палитру и сказал в сердцах:

– Кокетка дрянная! Мало ей! Уметил в натуру, а она и натурой своей недовольна. Навуходонсорша этакая! Видишь, богиней быть задумала. Меня, коллежского асессора, меня, которого сам Каравакк берет за руку, меня учить вздумала девчонка, оттого что вся знать за нею волочится!! Да что я, батрак тебе, что ли?

Вешняков не кончил своей филиппики. Вбежал оный барон, о котором мы уже кое-что слышали; запах тысячи помад и духов доложил о приближении его издалече; кафтан был залит золотом; на груди, как на пасхальном окороке, волновались манжеты; цепей, цепочек, колец – целый магазин, а в левом ухе бриллиантовая сережка. Он был довольно благообразен; но женский, пискливый голос, изломанные телодвижения – все это делало присутствие его весьма неприятным...

– Caro pittore!<sup>39</sup> – закричал он, вбегая в комнату. – Сто рублей! Только пожалуй мне с этого портрета копию!

– Я не могу. Я дал честное слово.

– Что за вздор! Ты же обещал графу копию!

– Нет!

---

<sup>36</sup> До свидания (*фр.; ит.*).

<sup>37</sup> Великая княгиня Екатерина ждет меня с одиннадцати часов... Пойдем, пойдем!.. (*фр.*)

<sup>38</sup> *Мушт-абель* – легкая деревянная палочка с шариком на конце, служащая живописцам опорой для руки, держащей кисть при выполнении мелких деталей картины.

<sup>39</sup> Дорогой художник! (*ит.*)

– Врешь, обещал! И увидишь – рассердятся: его не жалуют; а мы – дело иное... Я уверен, что даже будут очень довольны.

– Уверены?

– Больше! Я имею свои причины кое-что думать. И если бы я не был женат... Ну так что ж, будет копия?..

– С удовольствием! Я готов для вашей милости сесть на печку; только как же я это сделаю? Сейчас, сию минуту, приедут за портретом: когда же я успею?..

– Что за беда! Вот платье и руки не засохли! Вот этак замарай, и кончено...

– Караул!

– Чего ты кричишь?

– Три дня работы пропало...

– Вот тебе три червонца; заткни себе глотку и пиши копию. Я завтра заеду...

– Запирай, Франческа, двери! Спусти собаку! Не впускай никого! Я не маляр какой-нибудь; я коллежский ассессор Вешняков! Каравакк берет меня за руку; я только не итальянец, а то, по всему, я... О! Да это просто смерть с этими господами; запачкал и руки, и платье... Пстой, пстой! Елена Николаевна с тобой разделается... Погоди, дружок, проучат тебя... Из коллегии выживут, в вояж отправят, сошлют в деревню. Ведь это портрет Елены Николаевны, слышишь ли ты, разбойник, Елены Николаевны!!

– Какой Елены Николаевны? – спросил отец Сережи, входя в комнату. – Знали и мы Елену Николаевну.

– Ах, батюшка! – с криком сказал Сережа, бросаясь к отцу. – Мы, кажется, стесним Ивана Ивановича! У него тут ярмарка. То и дело к нему приходит знать...

– Полно, полно! Вот ваши комнаты! И выход особый, и помещение для людей; пойдем посмотрим...

Вешняков пошел с Александром Сергеевичем, а Сережа подбежал к портрету, плюнул на него, схватил, опрокинул и поставил к стенке...

– Прощай, кокетка! Мы с тобою не знакомы, мы никогда не видали друг друга! – с горьким смехом сказал Сережа и ушел на свою половину.

## II

Рано утром Александр Сергеевич ходил взад и вперед по гостиной и курил трубку. Перед Сережей стоял красивый серебряный кувшин с молоком и такой же поднос с сухарями.

– Что ты не ешь, Сережа!

– Не хочется!

– Дети должны завтракать. А мне не до пищи. Все медитую,<sup>40</sup> куда тебя отдать; в Шляхетский корпус или в Преображенский полк, куда ты давно уже записан, почитай, в день рождения... Из корпуса ты можешь попасть и в Конный новый Регимент, а уж в полку останешься пехотинцем... Кто это приехал?

Сережа вздрогнул. Дверь из гостиной была прямо в мастерскую и, на беду, растворена; отец мог увидеть Леночку: она хотела приехать. Сережа мог перенести обиду, но знал, что отец не так сговорчив... Но опасения его были напрасны. В мастерскую вошел какой-то жук – так тогда называли приказных – в сопровождении Франчески; он вошел в гостиную и, низко кланяясь, подал бумагу.

– Что за диво! – сказал отец Сережи. – Ко мне! Казенная бумага! Печать военной коллегии... Прочтем! Тьфу ты, что это такое! Сережа, уж не ты ли подавал просьбу? Да как это?... Глазам не верю... Сережу, дитя, ребенка, в Конный полк офицерским чином... Шутка, что ли? Да нет! Подписи, печать... Неужели ваш мастер Вешняков так силен? Больше некому. Видно, попросил Растреллия. Вот и он, кстати! Спасибо, дружнице! Видишь, плачу от радости!..

– Что случилось?

– Диво дивное! Сережа принят в Конный полк офицерским чином!..

– Что?

Тот повторил.

– Полно скрытничать! Кроме тебя, никто не знает о нашем приезде. Признавайся, как ты это сочинил?

– Убей меня Бог, ничего не понимаю...

Все, не исключая и Сережу, напрасно терялись в догадках; не день, не два ломали себе голову, а между тем Сережу обмундировали, представили в полк. Командир принял его не только ласково, но почтительно. Все это отцу показалось весьма странным. Но он еще более удивился, когда молодому офицеру приказано было немедленно переехать на жительство в казармы. Сережа ничего не понимал, что с ним делалось; повиновался слепо судьбе, и когда ознакомился несколько со службой, ему показалось, что все это случилось потому, что так должно было случиться. Товарищи сторонились от него, опасаясь, чтобы он не навлек им какой-либо неприятности. Невидимая, но сильная рука быстро его возвышала... Не прошло и двух месяцев, как Сережу позвали к командиру...

– Очень жалею, что наша служба вам не понравилась...

– Напротив!.. Но...

– Слабость здоровья! По лицу этого не видно. Может быть, душевные страдания? Не мое дело входить в причины ваших поступков; но ваша скромность, ваши благородные приемы, ваше безукоризненное поведение заставляют меня сожалеть, что я теряю такого офицера, и радоваться, что при дворе вы будете иметь больше случаев обратить на себя высокомонаршее внимание.

«Что он, рехнулся?» – подумал Сережа и не мог придумать начала своей речи.

– Нечего делать, расстанемся; но расстанемся друзьями! Поезжайте прямо к Ивану Ивановичу и объявите швейцару вашу фамилию...

---

<sup>40</sup> *Медитую* (от фр. – méditer) – размышляю, обдумываю.

- Ваше сиятельство! Я ничего не понимаю...
- О, из вас будет хороший дипломат! Так вы и не знаете, что вы пожалованы камер-юнкером...
- Я?
- Вы! Без всякой ошибки...
- Ей-богу, не знаю!
- Ах, Боже мой! Скоро одиннадцать! Вы можете опоздать; поезжайте!..

### III

Сидя в дежурной комнате, камер-юнкер Сережа терялся в догадках: кто это распорядится его судьбою и не удостоит даже спросить его, согласен ли он сам на все эти перемены. Не знакомый ни с кем, будто в лесу, он видел вокруг себя волнения колоссального мира. Только золото, дорогие камни, парчу, глазет, мундиры и звезды видел он в залах Зимнего дома. На выходах, стоя в антикамомах,<sup>41</sup> он дрожал как лист. С товарищами ему удалось, однако же, познакомиться, тем более что переезд двора на лето в Сарское Село поселял между всеми придворными более непринужденности; от них брал он уроки придворной жизни и, при необыкновенных способностях, умел скоро усвоить себе эту немалотрудную науку. Начальство отмечало его как чиновника, примерного по своей исправности и ловкости; молодые дамы – как прекрасного наружностью; старухи – как умного и любезного собеседника; в два месяца он стал для всех необходим. Но эта честь утомляла Сережу; раза два он даже прихворнул, и второй недуг его был причиною, что с оставлением в звании камер-юнкера и с чином статского советника его назначили состоять при канцелярии канцлера. Сережа ездил ко двору часто; но уже служба его не была так утомительна. Вы спросите, что же Елена Николаевна? Ведь она ежедневно встречалась с Сережей? Случалось. Ведь она же видела его, говорила с ним?.. Встречалась; но ни одного взгляда. И притом, ей было некогда. Между Леночкой и Сережей стоял целый забор поклонников. Сережа притом не мог простить ей первой встречи и мстил, то есть не смотрел на нее; а когда встречал ее, то отворачивался и рассматривал шпалеры. Хотя сначала он уклонялся от знакомств и посещений, но впоследствии он знал необходимость сблизиться с двумя, тремя лицами, бывать у них, кутить с ними и пускаться в конфиденции.<sup>42</sup> Тайна Сережи, несмотря на все, оставалась при нем.

– Что, брат? – сказал однажды за плотным ужином князь \*\*\*. – Ты, кажется, никогда не влюбишься!

– Никогда!

– Послушай, Сергей Александрович, оно, конечно, оригинально, но уж чересчур невинно. Как это ты можешь устоять противу Натальи Александровны? Она на тебя глаза высмотрела; вот, так и лезет к тебе в душу, а ты, будто медведь от оводов, отмахиваешься. Неужели она тебе не нравится?

– Нет ничего удивительного! – подхватил другой собеседник. – Сергею Александровичу не нравится и Елена Николаевна.

– Вот в этом я не вижу ничего удивительного... – перебил опять князь. – Эта неприступная, жестокая, страшная красавица может понравиться только людям слишком самолюбивым, которым кажется, что их богатство и значение имеют магическую силу. Вот уже скоро два года толпа поклонников не уменьшается, а кого из них ты назовешь счастливецем?.. По-моему, это не кокетство, а высший ум, каким только может обладать женщина. Я опытный ловелас, и вы будете смеяться, а я скажу вам свою мысль. Елена любит; но ее любимца нет в толпе поклонников, которых мы видим ежедневно... И этот любимец должен всплыть наверх очень скоро.

– Это почему?

– Потому что Елене Николаевне сделаны формальные пропозиции,<sup>43</sup> это раз, а во-вторых, завещание дядюшки гласит, что она вольна избрать себе жениха по сердцу, но с некоторыми кондициями; если же до шестого февраля именно будущего года не выйдет замуж, то все имение переходит к двоюродной племяннице покойного...

---

<sup>41</sup> *Антикамера* – небольшое помещение, расположенное перед парадным залом.

<sup>42</sup> *Конфиденция* (фр. confidence) – доверительная беседа, секрет, откровенность.

<sup>43</sup> *Пропозиция* (фр. proposition) – предложение.

– Ты как все это знаешь?

– Еще бы! На этой второй племяннице женится моя милость, разумеется, если Елена Николаевна не выйдет замуж...

Сережа выслушал все внимательно и дал себе слово во что бы то ни стало воспрепятствовать урочному замужеству. Время себе, между тем, шло. Об Рождестве Сережа получил награждение за особенные заслуги, оказанные им по дипломатической части. О Сереже говорили как о молодом гении, обещающем великие и богатые надежды. Приближался 1746 год... Около Зимнего дворца хлопотало множество народа. Растрелли являлся везде: то на Неве устанавливал машины, то на особом канале, проведенном из Невы. Шестнадцать лошадей поднимали воду в бассейны, устроенные над Большой залой, на лугу, что ныне Дворцовая площадь, воздвигались деревянные крашенные пирамиды. Механик Кейзер, по указанию Растрелли, хлопотал около фонтанов. Погода благоприятствовала празднеству; мороз во все время не доходил выше пяти градусов. В первый день нового года после обедень весь двор, поздравив императрицу, не разъезжался до обеда; после обеда дворец опустел, но на самое короткое время... Сережа, надев домино и маску, явился в антикамеры. Скоро вышел весь двор; двери дворца открылись для народа; Сережа, увлекаемый толпою, очутился в аванзале, где еще стояла огромная пирамида, называвшаяся Буфетом; вслед за тем, порывом той же народной толпы, Сережу, можно сказать, перекинуло в Большую залу. Хотя он привык к великолепию, но представившееся зрелище его ослепило и, надо прибавить, оглушило. Великолепные огненные узоры обливали стены колоссальной, давно уже не существующей, Большой залы, в пространстве коей ныне помещаются три жилые этажа и дворник. Шесть тысяч шкальчиков<sup>44</sup> вокруг стен составляли какую-то удивительную надпись, которая громко свидетельствовала о пламенном и могучем воображении обер-архитектора; но этого мало: с трех стен стремились широкие водопады; фонтаны били в разных местах залы; восклицания сливались в гул, который, с шумом воды, придавал зрелищу сказочное великолепие... Музыка играла в разных комнатах: общий польский несколько раз обошел залы; наконец маски расстались, рассыпались по залам; Сережа воротился в Большую залу, чтобы еще раз посмотреть на эту картину из Шехерезады и отправиться домой; вдруг под рукой он почувствовал чужую маленькую ручку; низенькая дама пискливым голосом сказала:

– А я знаю, о чем вы думаете!..

– Глядя на это великолепие, угадать не трудно...

– Неправда. Вы думаете о Леночке...

Сережа вздрогнул.

– Неправда! – сказал он. – Ни она обо мне, ни я об ней давно уже не думаем.

– Неправда! Впрочем, вы – может быть, а уж за нее я могу поручиться, что она думала только о вас! Ей это и доказать нетрудно. Ваш чин, мундир – ее свидетели...

– Что это значит?..

– А то значит, что вы не поняли ее любви. Не случилось, а если бы представилась возможность, вы, верно, бы ей изменили; но она и тогда бы не пожалела о вашем возвышении; вы, слава Богу, достойны того, что для вас сделала протекция многих, многих...

– Боже мой! Неужели всем, всем я обязан...

– Любви Леночки...

– Я вас не пущу... Я узнаю, кто вы!

– Узнаете, только не сегодня.

– Когда же?

– Не дальше как завтра, в семь часов вечера...

– Где?

---

<sup>44</sup> Шкальчик (шкалик) – стаканчик с салом, служащий для праздничного освещения.

– В доме тетки Леночки. Будете?

– Непременно... Но я забыл... мне запрещено говорить...

– Срок испытания кончился. Приезжайте на сговор Леночки.

– Она выходит замуж?

– Непременно и очень скоро...

– Так зачем же я приеду?..

– А долг благодарности? Хороши вы! Если бы вы знали, сколько хитрости, сколько стараний употребила Леночка, чтобы в этом ужасном пути сохранить чистоту деревенской Леночки, вашей соседки; той Леночки, что, помните, бегала с вами по долам и лугам? Для нее вы рвали цветы, для нее ловили птичек, чтобы доставить ей удовольствие – дарить им свободу; для нее... но мы заболтались. Верьте одному: Леночка все та же, только выдержала экзамен в самом трудном пансионе, и выдержала блистательно. Теперь собирается жить заправду и ждет вас завтра. Прощайте!

Маска исчезла. Сережа напрасно искал ее глазами; напрасно бегал по залам; напрасно; забывшись, он отправился домой пешком, не обращая внимания на то, что в чулках и башмаках неловко снег месить, не слушая кликов толпы, которая доканчивала допивать вино из умирающих фонтанов, устроенных по углам крашенных пирамид. Сережа опять жил у Вешнякова; прибежав, бросился искать живописца. Но его не было.

Он возвратился на другой день ровно в семь часов, когда Сережа садился в карету...

– Иван Иванович!

– Семь часов!

– Но скажите мне...

– Семь часов! Скорее! Вы опоздаете! – И Вешняков втолкнул его в карету и захлопнул дверцы.

– Одно слово...

– Семь часов! Пошел!

У тетушки было много гостей. Сережа вошел, никем не замеченный, именно в то время, когда Леночка громко читала завещание дядюшки, а смех еще громче заглушал чтение.

– Чтоб был статский для того, чтобы на войне не убили или не изувечили; не ниже чина статского советника и не старше отнюдь тридцати пяти лет: понеже в браке равенство лет кондиция первая.

Общий хохот прервал чтение.

– Хорошо равенство лет: восемнадцать и тридцать пять! Ровно вдвое!

– А все прочее предоставляю разуму Леночки... Дорогой дядюшка! Он поверил моему разуму и не ошибся. Мой выбор сделан.

Воцарилась мертвая тишина. Леночка встала, осмотрела гостей и, заметив Сережу, подлетела к нему, обняла без церемоний, пламенно поцеловала, повернулась на одной ножке, присела и с притворною застенчивостью сказала:

– Вот мой суженый-ряженный, его и конем не объедешь!

– Как! – воскликнула тетушка. – Да вы с ним, почитай, незнакомы...

– Ошибаетесь, ma tante, я с ним знакома ровно восемнадцать лет! Тетушка, благословите нас!..

Сговор и свадьба совершились еще до срока. Новый, 1746 год действительно был эпохой в жизни и Сережи и Леночки... Сережа было задумал купить дом, устроиться в Петербурге, но Леночка рассудила иначе. Ей удалось выхлопотать для мужа место резидента при дворе одного германского владетеля, и счастливые супруги тою же весною отправились за границу на своих лошадях, в четырех экипажах. Вешняков снаряжал их в путь вместе с отцом Сережи.

– А что, Олександро Сергеевич?.. Какова Елена Николаевна?

– Молодец! Да, впрочем, это уж год такой. У меня, Иван Иванович, озимь вот уж такая теперь; лес будет, как вырастет...

– А Елена Николаевна?

– Молодец! Молодец!

– Сама себе жениха снарядила. Только как же это будет, Олександро Сергеевич? Ведь с Сережи-то портрета нет...

– И не надо! Я его и так не забуду...

– Ну, без портрета и себя забудешь. Не надо так не надо; а все-таки скажите, Олександро Сергеевич, какова наша Елена Николаевна?

– Молодец!

– То-то же!

*1846*

## Федор Достоевский (1821–1881)

### Елка и свадьба

#### Из записок неизвестного

На днях я видел свадьбу... но нет! Лучше я вам расскажу про елку. Свадьба хороша; она мне очень понравилась, но другое происшествие лучше. Не знаю, каким образом, смотря на эту свадьбу, я вспомнил про эту елку. Это вот как случилось. Ровно лет пять назад, накануне Нового года, меня пригласили на детский бал. Лицо приглашавшее было одно известное деловое лицо, со связями, с знакомством, с интригами, так что можно было подумать, что детский бал этот был предлогом для родителей сойтись в кучу и потолковать об иных интересных материях невинным, случайным, нечаянным образом. Я был человек посторонний; материй у меня не было никаких, и потому я провел вечер довольно независимо. Тут был и еще один господин, у которого, кажется, не было ни роду, ни племени, но который, подобно мне, попал на семейное счастье... Он прежде всех бросился мне на глаза. Это был высокий, худошавый мужчина, весьма серьезный, весьма прилично одетый. Но видно было, что ему вовсе не до радостей и семейного счастья: когда он отходил куда-нибудь в угол, то сейчас же переставал улыбаться и хмурил свои густые черные брови. Знакомых, кроме хозяина, на всем бале у него не было ни единой души. Видно было, что ему страх скучно, но что он выдерживал храбро, до конца, роль совершенно развлеченного и счастливого человека. Я после узнал, что это один господин из провинции, у которого было какое-то решительное, головоломное дело в столице, который привез нашему хозяину рекомендательное письмо, которому хозяин наш покровительствовал вовсе не *сop amore*<sup>45</sup> и которого пригласил из учтивости на свой детский бал. В карты не играли, сигары ему не предложили, в разговоры с ним никто не пускался, может быть издали узнав птицу по перьям, и потому мой господин принужден был, чтоб только куда-нибудь девать руки, весь вечер гладить свои бакенбарды. Бакенбарды были действительно весьма хороши. Но он гладил их до того усердно, что, глядя на него, решительно можно было подумать, что сперва произведены на свет одни бакенбарды, а потом уж приставлен к ним господин, чтобы их гладить.

Кроме этой фигуры, таким образом принимавшей участие в семейном счастье хозяина, у которого было пятеро сытенных мальчиков, понравился мне еще один господин. Но этот уже был совершенно другого свойства. Это было Лицо. Звали его Юлиан Мастакович. С первого взгляда можно было видеть, что он был гостем почетным и находился в таких же отношениях к хозяину, в каких хозяин к господину, гладившему свои бакенбарды. Хозяин и хозяйка говорили ему бездну любезностей, ухаживали, поили его, лелеяли, подводили к нему, для рекомендации, своих гостей, а его самого ни к кому не подводили. Я заметил, что у хозяина заискрилась слеза на глазах, когда Юлиан Мастакович отнесся по вечеру, что он редко проводит таким приятным образом время. Мне как-то стало страшно в присутствии такого лица, и потому, полюбовавшись на детей, я ушел в маленькую гостиную, которая была совершенно пуста, и засел в цветочную беседку хозяйки, занимавшую почти половину всей комнаты.

Дети все были до невероятности милы и решительно не хотели походить на больших, несмотря на все увещания гувернанток и маменек. Они разобрали всю елку вмиг, до последней конфетки, и успели уже переломать половину игрушек, прежде чем узнали, кому какая назначена. Особенно хорош был один мальчик, черноглазый, в кудряшках, который все хотел меня застрелить из своего деревянного ружья. Но всех более обратила на себя внимание его сестра, девочка лет одиннадцати, прелестная, как амурчик, тихонькая, задумчивая, бледная,

---

<sup>45</sup> Из любви (фр.).

с большими задумчивыми глазами навывате. Ее как-то обидели дети, и потому она ушла в ту самую гостиную, где сидел я, и занялась в уголку – своей куклой. Гости с уважением указывали на одного богатого откупщика, ее родителя, и кое-кто замечал шепотом, что за ней уже отложено на приданое триста тысяч рублей. Я оборотился взглянуть на любопытствующих о таком обстоятельстве, и взгляд мой упал на Юлиана Мастаковича, который, закинув руки за спину и наклонив немножечко голову набок, как-то чрезвычайно внимательно прислушивался к празднословию этих господ. Потом я не мог не подивиться мудрости хозяев при раздаче детских подарков. Девочка, уже имевшая триста тысяч рублей приданого, получила богатейшую куклу. Потом следовали подарки понижаясь, смотря по понижению рангов родителей всех этих счастливых детей. Наконец, последний ребенок, мальчик лет десяти, худенький, маленький, весноватенький, рыженький, получил только одну книжку повестей, толковавших о величии природы, о слезах умиления и прочее, без картинок и даже без виньетки. Он был сын гувернантки хозяйских детей, одной бедной вдовы, мальчик крайне забитый и запуганный. Одет он был в курточку из убогой нанки. Получив свою книжку, он долгое время ходил около других игрушек; ему ужасно хотелось поиграть с другими детьми, но он не смел; видно было, что он уже чувствовал и понимал свое положение. Я очень люблю наблюдать за детьми. Чрезвычайно любопытно в них первое, самостоятельное проявление в жизни. Я заметил, что рыженький мальчик до того соблазнился богатыми игрушками других детей, особенно театром, в котором ему непременно хотелось взять на себя какую-то роль, что решился поподличать. Он улыбался и заигрывал с другими детьми, он отдал свое яблоко одному одутловатому мальчишке, у которого навязан был полный платок гостинцев, и даже решился повозить одного на себе, чтоб только не отогнали его от театра. Но чрез минуту какой-то озорник препорядочно поколотил его. Ребенок не посмел заплакать. Тут явилась гувернантка, его маменька, и велела ему не мешать играть другим детям. Ребенок вошел в ту же гостиную, где была девочка. Она пустила его к себе, и оба весьма усердно принялись наряжать богатую куклу.

Я сидел уже с полчаса в плюшевой беседке и почти задремал, прислушиваясь к маленькому говору рыженького мальчика и красавицы с тремястами тысяч приданого, хлопотавших о кукле, как вдруг в комнату вошел Юлиан Мастакович. Он воспользовался скандальной сценой ссоры детей и вышел потихоньку из залы. Я заметил, что он с минуту назад весьма горячо говорил с папенькой будущей богатой невесты, с которым только что познакомился, о преимуществе какой-то службы перед другою. Теперь он стоял в раздумье и как будто что-то рассчитывал по пальцам.

– Триста... триста, – шептал он. – Одиннадцать... двенадцать... тринадцать и так далее. Шестнадцать – пять лет! Положим, по четыре на сто – 12, пять раз = 60, да на эти 60... ну, положим, всего будет через пять лет – четыреста. Да! вот... Да не по четыре со ста же держит, мошенник! Может, восемь аль десять со ста берет. Ну, пятьсот, положим, пятьсот тысяч, по крайней мере, это наверно; ну, излишек на тряпки, гм...

Он кончил раздумье, высморкался и хотел уже выйти из комнаты, как вдруг взглянул на девочку и остановился. Он меня не видал за горшками с зеленью. Мне казалось, что он был крайне взволнован. Или расчет подействовал на него, или что-нибудь другое, но он потирал себе руки и не мог постоять на месте. Это волнение увеличилось до *plus ultra*,<sup>46</sup> когда он остановился и бросил другой, решительный взгляд на будущую невесту. Он было двинулся вперед, но сначала огляделся кругом. Потом, на цыпочках, как будто чувствуя себя виноватым, стал подходить к ребенку. Он подошел с улыбочкой, нагнулся и поцеловал ее в голову. Та, не ожидая нападения, вскрикнула от испуга.

– А что вы тут делаете, милое дитя? – спросил он шепотом, оглядываясь и трепля девочку по щеке.

---

<sup>46</sup> Крайних пределов (*лат.*).

– Играем...

– А? с ним? – Юлиан Мастакович покосился на мальчика.

– А ты бы, душенька, пошел в залу, – сказал он ему.

Мальчик молчал и глядел на него во все глаза. Юлиан Мастакович опять поосмотрелся кругом и опять нагнулся к девочке.

– А что это у вас, куколка, милое дитя? – спросил он.

– Куколка, – отвечала девочка, морщась и немножко робея.

– Куколка... А знаете ли вы, милое дитя, из чего ваша куколка сделана?

– Не знаю... – отвечала девочка шепотом и совершенно потупив голову.

– А из тряпочек, душенька. Ты бы пошел, мальчик, в залу, к своим сверстникам, – сказал Юлиан Мастакович, строго посмотрев на ребенка.

Девочка и мальчик поморщились и схватились друг за друга. Им не хотелось разлучаться.

– А знаете ли вы, почему подарили вам эту куколку? – спросил Юлиан Мастакович, понижая все более и более голос.

– Не знаю.

– А оттого, что вы были милое и благонравное дитя всю неделю.

Тут Юлиан Мастакович, взволнованный донельзя, осмотрелся кругом и, понижая все более и более голос, спросил наконец неслышным, почти совсем замирающим от волнения и нетерпения голосом:

– А будете ли вы любить меня, милая девочка, когда я приеду в гости к вашим родителям?

Сказав это, Юлиан Мастакович хотел еще один раз поцеловать милую девочку, но рыженький мальчик, видя, что она совсем хочет заплакать, схватил ее за руки и захныкал от полнейшего сочувствия к ней. Юлиан Мастакович рассердился не в шутку.

– Пошел, пошел отсюда, пошел! – говорил он мальчишке. – Пошел в залу! пошел туда, к своим сверстникам!

– Нет, не нужно, не нужно! подите вы прочь, – сказала девочка, – оставьте его, оставьте его! – говорила она, почти совсем заплакав.

Кто-то зашумел в дверях, Юлиан Мастакович тотчас же приподнял свой величественный корпус и испугался. Но рыженький мальчик испугался еще более Юлиана Мастаковича, бросил девочку и тихонько, опираясь о стенку, прошел из гостиной в столовую. Чтоб не подать подозрений, Юлиан Мастакович пошел также в столовую. Он был красен как рак и, взглянув в зеркало, как будто сконфузился себя самого. Ему, может быть, стало досадно за горячку свою и свое нетерпение. Может быть, его так поразил вначале расчет по пальцам, так соблазнил и вдохновил, что он, несмотря на всю солидность и важность, решился поступить как мальчишка и прямо абордировать<sup>47</sup> свой предмет, несмотря на то что предмет мог быть настоящим предметом по крайней мере пять лет спустя. Я вышел за почтенным господином в столовую и увидел странное зрелище. Юлиан Мастакович, весь покраснев от досады и злости, пугал рыжего мальчика, который, уходя от него все дальше и дальше, не знал – куда забежать от страха.

– Пошел, что здесь делаешь, пошел, негодник, пошел! Ты здесь фрукты таскаешь, а? Ты здесь фрукты таскаешь? Пошел, негодник, пошел, сопливый, пошел, пошел к своим сверстникам!

Перепуганный мальчик, решившись на отчаянное средство, попробовал было залезть под стол. Тогда его гонитель, разгоряченный донельзя, вынул свой длинный батистовый платок и начал им выхлестывать из-под стола ребенка, присмирившего до последней степени. Нужно заметить, что Юлиан Мастакович был немножко толстенек. Это был человек сытенький, румяньенький, плотненький, с брюшком, с жирными ляжками, словом, что называется, крепняк, кругленький, как орешек. Он вспотел, пыхтел и краснел ужасно. Наконец он почти остерве-

---

<sup>47</sup> *Абордировать* (фр. *aborder*) – атаковать.

нился, так велико было в нем чувство негодования и, может быть (кто знает?), ревности. Я захохотал во все горло. Юлиан Мастакович оборотился и, несмотря на все значение свое, сконфузился в прах. В это время из противоположной двери вошел хозяин. Мальчишка вылез из-под стола и обтирал свои колени и локти. Юлиан Мастакович поспешил поднести к носу платок, который держал, за один кончик, в руках.

Хозяин немножко с недоумением посмотрел на троих нас; но, как человек, знающий жизнь и смотрящий на нее с точки серьезной, тотчас же воспользовался тем, что поймал наедине своего гостя.

– Вот-с тот мальчик-с, – сказал он, указав на рыженького, – о котором я имел честь просить...

– А? – отвечал Юлиан Мастакович, еще не совсем оправившись.

– Сын гувернантки детей моих, – продолжал хозяин просительным тоном, – бедная женщина, вдова, жена одного честного чиновника; и потому... Юлиан Мастакович, если возможно...

– Ах, нет, нет, – поспешно закричал Юлиан Мастакович, – нет, извините меня, Филипп Алексеевич, никак невозможно-с. Я справлялся: вакансии нет, а если бы и была, то на нее уже десять кандидатов, гораздо более имеющих право, чем он... Очень жаль, очень жаль...

– Жаль-с, – повторил хозяин, – мальчик скромненький, тихонький...

– Шалун большой, как я замечаю, – отвечал Юлиан Мастакович, истерически скривив рот, – пошел, мальчик, что ты стоишь, пойдй к своим сверстникам! – сказал он, обращаясь к ребенку.

Тут он, кажется, не мог утерпеть и взглянул на меня одним глазом. Я тоже не мог утерпеть и захохотал ему прямо в глаза. Юлиан Мастакович тотчас же отворотился и довольно явственно для меня спросил у хозяина, кто этот странный молодой человек? Они зашептались и вышли из комнаты. Я видел потом, как Юлиан Мастакович, слушая хозяина, с недоверчивостию качал головою.

Нахохотавшись вдоволь, я воротился в залу. Там великий муж, окруженный отцами и матерями семейств, хозяйкой и хозяином, что-то с жаром толковал одной даме, к которой его только что подвели. Дама держала за руку девочку, с которою, десять минут назад, Юлиан Мастакович имел сцену в гостиной. Теперь он рассыпался в похвалах и восторгах о красоте, талантах, грации и благовоспитанности милого дитяти. Он заметно юлил перед маменькой. Мать слушала его чуть ли не со слезами восторга. Губы отца улыбались. Хозяин радовался излипаниям всеобщей радости. Даже все гости сочувствовали, даже игры детей были остановлены, чтоб не мешать разговору. Весь воздух был напоен благоговением. Я слышал потом, как тронутая до глубины сердца маменька интересной девочки в отборных выражениях просила Юлиана Мастаковича сделать ей особую честь, подарить их дом своим драгоценным знакомством; слышал, с каким неподдельным восторгом Юлиан Мастакович принял приглашение и как потом гости, разойдясь все, как приличие требовало, в разные стороны, рассыпались друг перед другом в умилительных похвалах откупщику, откупщице, девочке и в особенности Юлиану Мастаковичу.

– Женат этот господин? – спросил я, почти вслух, одного из знакомых моих, стоявшего ближе всех к Юлиану Мастаковичу.

Юлиан Мастакович бросил на меня испытующий и злобный взгляд.

– Нет! – отвечал мне мой знакомый, огорченный до глубины сердца моею неловкостию, которую я сделал умышленно...

Недавно я проходил мимо \*\*\*ской церкви; толпа и съезд поразили меня. Кругом говорили о свадьбе. День был пасмурный, начиналась изморось; я пробрался за толпою в церковь и увидел жениха. Это был маленький, кругленький, сытенький человечек с брюшком, весьма разукрашенный. Он бегал, хлопотал и распоряжался. Наконец раздался говор, что привезли

невесту. Я протеснился сквозь толпу и увидел чудную красавицу, для которой едва настала первая весна. Но красавица была бледна и грустна. Она смотрела рассеянно; мне показалось даже, что глаза ее были красны от недавних слез. Античная строгость каждой черты лица ее придавала какую-то важность и торжественность ее красоте. Но сквозь эту строгость и важность, сквозь эту грусть просвечивал еще первый детский, невинный облик; сказывалось что-то донельзя наивное, неустановившееся, юное и, казалось, без просьб само за себя молившее о пощаде.

Говорили, что ей едва минуло шестнадцать лет. Взглянув внимательно на жениха, я вдруг узнал в нем Юлиана Мастаковича, которого не видел ровно пять лет. Я поглядел на нее... Боже мой! Я стал протесняться скорее из церкви. В толпе толковали, что невеста богата, что у невесты пятьсот тысяч приданого... и на сколько-то тряпками...

«Однако расчет был хорош!» – подумал я, протеснившись на улицу...

1848

## Владимир Соллогуб (1813–1882)

### Метель

*Графу П. В. Орлову-Денисову*

Снег падал густыми хлопьями. По саратовской дороге медленно тащи́лась кибитка, запряженная тремя изнуренными лошадьми. Кругом расстилалась снежная равнина, раскидывалась белая степь. Резкий ветер гулял на просторе. Было холодно, грустно и мрачно.

В кибитке лежал закутанный в медвежью шубу молодой гвардейский офицер и думал себе от скуки крепкую думу. Он думал о Петербурге, куда спешил на свадьбу к брату; он думал об этом вечно взволнованном, неугомонном Петербурге, который поглотил лучшие годы его молодости и не отдал ему взамен ни светлым покоем, ни радужным воспоминаньем. Он мысленно перебирал свое молодое прошедшее, свои нежные похождения, свое желание любить, свою досаду на вечно обманутые ожидания. В душе его протянулась целая вереница стройных девушек, молодых, прекрасных и нарядных женщин. Все мимоходом кидают ему приветливый взгляд, светскую улыбку, заманчивое слово – и нет тут ничего мудреного: он потомок древнего прославленного рода, он владетель обширного, доходного имения, он богат и молод, проворен и хорош, да и вдобавок танцует с ожесточенной ловкостью – ему почет и место; его и матушки зовут обедать; отцы семейств бегают к нему с визитами; дочери скромно выбирают его в мазурке – он у всех на примете; светские красавицы приглашают его в свою ложу в театр, в свою гостиную на приятельские вечера, где курится столько пахитосов и говорится столько вздора; иные даже усердно заманивали его в свои сети, другие даже явно враждовали из-за него. Чего бы, кажется, желать ему еще более? Его ли участь не завидна?

Его ли самолюбие не удовлетворено? Зачем же какое-то тяжелое, неприязненное чувство свинцовым грузом ложится ему на сердце? Затем, что из этого вихря тревоги и тщеславия он не вынес ни одного отрадного чувства, которое теплилось, как бы лампада, в его отуманенной светом жизни; затем, что он хорошо понимал, что не к нему, а к его случайным отличиям устремлялись и взгляды невест, и вздохи присяжных красавиц. Он разглядывал странные особенности светской жизни, где страсть еще подчас доступна, но где нет и не может быть приюта той глубокой, беспредельной любви без расчета и развлечений, которая дается немногим, но зато вечно светится, вечно греет и сопутствует до могилы.

Вдруг кибитка остановилась.

– Что это, – закричал офицер, – ты, брат, так едешь, что ни на что не похоже! Ни гроша не дам на водку.

Ямщик слез с облучка, похлопал окоченевшими руками и нагнулся к земле, как будто отыскивая что-то.

– Хороша водка! – бормотал ямщик сквозь зубы. – Вот те и водка, прости Господи, с дороги никак сбились.

– Да что ты, слепой, что ли? – спросил с нетерпением офицер.

– Слепой, – бормотал ямщик, – слепой. Вишь, барин каков!.. Вот те и слепой... Небось, слепым не бывал. Вишь, погодка-то какая!.. Прости Господи! Метель поднялась...

– Так что ж, что метель?

– Что ж, что метель!.. А вот погляди-ка, барин... Не дай, Господи... Вот те и метель... Ах ты, Господи, Господи! Что станешь делать? Грех какой! Гляди, какая поднялась.

Офицер выглянул из кибитки и ужаснулся.

Кто не ездил зимой по нашим степям, тот не может составить себе никакого понятия о степной метели. Сперва валит снег, и ветер порывисто сыплет им во все стороны, не зная

отпора и преграды. Земля, как скованное море, покрытое беспредельною, хрупкою скатертью, резко отделяется от черного неба, нависшего над ней другой сплошною, черною степью. Ни птица не пролетит, ни заяц не промелькнет: все безлюдно, мертво, дико, беспредельно и полно суровой таинственности. Один голос начинающейся бури раздается свободно по плоскому пространству и плачет, и воет, и ревет страшными, одной степи известными голосами. Вдруг вся природа содрогается. Летит метель на крыльях вихря. Начинается что-то непонятное, чудное, невыразимое. Земля ли в судорогах рвется к небу, небо ли рушится на землю; но все вдруг смешивается, вертится, сливается в адский хаос. Глыбы снега, как исполинские саваны, поднимаются, шатаясь, кверху и, клубясь с страшным гулом, борются между собой, падают, кувыркаются, рассыпаются и снова поднимаются еще больше, еще страшнее. Кругом ни дороги, ни следа. Метель со всех сторон. Тут ее царство, тут ее разгул, тут ее дикое веселье. Беда тому, кто попался ей в руки: она замучит его, завертит, засыплет снегом да насмеется вдоволь, а иной раз так и живого не отпустит.

Нечего сказать, из петербургского раздушенного, разряженного, блестящего мира вдруг попасть на такой фантастический праздник подгулявшей степной зимы – противоположность слишком резкая. Офицер призадумался и стал озираться с беспокойством. Бальные видения, красавицы и мечты исчезли мгновенно. Дело становилось плохо.

– Не остановиться ли нам? – сказал он нерешительно.

– Остановиться, – шептал ямщик, – как не остановиться? Еще бы не остановиться! Да чтоб хуже не было.

– Как хуже?

– Известно, как хуже: занесет, пожалуй, совсем, а там поминай как звали. Да стужа проймет... Ишь, грех какой! Замерзнешь совсем.

– Ну так ступай же, – закричал офицер, – ступай!

– Да куда я поеду? Вишь, буран какой, зги Божьей не видать!

Метель все более и более усиливалась. Положение путников становилось действительно опасно. Кибитка тащилась наудачу по сугробам. Лошади увязали в подвижных снежных лавинах и, тяжело фыркая, едва передвигали ноги; рядом с ними шел ямщик, разговаривая сам с собою. Офицер молчал. Так прошло часа два самых мучительных; метель не утихала. Кибитка все глубже врезалась в навалившийся снег. Офицер уже чувствовал, что резкий мороз обхватывал члены его; мысли его смешивались. Тихая дремота, полная какой-то особой, дикой неги, начинала клонить его к тихому сну, только вечному, непробудному...

Вдруг вдали мелькнул огонек. Ямщик снял шапку и перекрестился.

– Ну, счастье твое, барин: никак жильё недалеко, не то и кости могли бы здесь оставить.

Почуя близкое спасенье, лошади подняли морды, принапружились и повезли бодрее. Путники ехали целиком по направлению спасительного маяка. О дороге и думать было нечего. Через несколько времени они подъехали к небольшой избушке, нагнутой набок и как будто забытой в степи откочевавшим селением. Небольшой сгнивший сарай с развалившейся крышей и страшно занесенный снегом печально примыкал к этому бедному жилищу с двумя маленькими окнами, из которых светился огонек.

– Станция! – сказал ямщик и бросил поводья.

На крыльцо выбежал смотритель, помог офицеру выкарабкаться из кибитки, ввел его в комнату и, прочитав подорожную, застегнул сюртук на все пуговицы. В маленькой и душевной комнате пар стоял столбом, в парном тумане сверкал самовар и темно обрисовывались туловища, красные лица и бороды трех купцов, вероятно, тоже застигнутых метелью.

Старший из них приветствовал приезжего.

– Никак нашей семьи прибыло. С дороги, ваше благородие, и погреться бы не худо. Просим покорнейше с нашим почтением, коли не побрезгуете с купцами. Смеем просить чайком.

Офицер с радостью принял радушное приглашение и уселся с новыми знакомыми.

Речь завязалась, разумеется, о погоде, о метелях вообще и в частности, о рыбной торговле и проч.

Офицер участвовал, сколько мог, в разговоре, но потом мало-помалу соскучился и начал рассматривать комнатку. Слева от двери громоздилась огромная русская печь с лежанкой, за ней стояла двухспальная кровать с периной и подушками и покрытая заслуженным одеялом, сшитым из разных ситцевых лоскутков; между окон находился диванчик, на котором сидели купцы. С другой стороны красовалась еще кровать, но больше, кажется, для вида, сколоченная из трех досок и покрытая войлоком.

Рядом стоял стул. Большой сундук и кукушка с неугомонным маятником довершали убранство жилища станционного смотрителя. На брусчатых стенах были наклеены предписания почтового ведомства и бегали взапуски с редкой отвагой, расправляя усы, разные насекомые, много известные русскому народу. В окна стучалась, завывая, метель. Вдруг что-то шаркнуло у крыльца. За дверью раздался младенческий писк, женский говор и здоровый голос мужчины. Смотритель снова засуетился.

Дверь распахнулась, и в комнату ввалился отставной капитан с супругой, старой сестрой и маленькой дочкой.

Капитан раскланялся сперва с офицером.

– Ну уж погодка! Вы тоже изволите ехать?

– Как видите.

– Издалека?

– Издалека.

– Откуда, коль смею спросить?

– В Петербург.

– А! Позвольте спросить чин, имя и фамилию?

Офицер назвал себя по имени.

– Как же это вы к нам пожаловали? По службе, конечно?..

– Ну, а вы, господа, – продолжал капитан более небрежным тоном и обращаясь к купцам, – в купечестве, должно быть. С ярмарки? Понабили карманы? Пообдули порядком нашего брата, дворянина?

Тут капитан, довольный остроотой, засмеялся во все горло.

– А вот-с мы едем из деревни, от тещи. Вы не изволите ее знать? Здешняя помещица Прохвиснева... добрая старушка такая. Душ шестьдесят будет. Вообразите, как нарочно, жена говорит мне: «Не езд, Basile, что-то дурная погода». А я, знаете, военная косточка, и говорю: «К черту, матушка! Сказали поход, так и марш!» Что бабу слушать? Баба ведь... черт ее знает...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.